З. Н. ГИППИУС

<«Да, фатальный человек; слабый… герой. Мужественный… предатель»>

27 Февраля. Понедельник.

<…> 5 часов. В Думе образовался Комитет «для водворения порядка и для сношения с учреждениями и лицами»[1]. Двенадцать: Родзянко, Некрасов, Коновалов, Дмитрюков[2], Керенский, Чхеидзе, Шульгин, Шидловский, Милюков, Караулов, Львов[3] и Ржевский[4]. <…>

5 1/2 часов. Арестовали Щегловитого. Под революционной охраной привезли в Думу. Родзянко протестовал, но Керенский, под свою ответственность, посадил его в Министерский павильон и запер. <…>

28 февраля.

<…> Войска — по мере присоединения, а присоединяются они неудержимо, — лавиной текут к Думе. К ним выходят, говорят. Знаю, что говорили речи Милюков, Родзянко и Керенский.

Контакт между Комит[етом] и Советом р[абочих] д[епутатов] неуловим. Какой-то, очевидно, есть, хотя они действуют параллельно; например, и те и другие — «организовывают милицию». Но ведь вот: Керенский и Чхеидзе в одно и то же время и в Комитете, и в Совете. Может ли Комитет объявить себя Правительством? Если может, то может и Совет. Дело в том, что Комитет ни за что и никогда этого не сделает, на это не способен. А Совет весьма и весьма способен. <…>

P. S. Позднее ночью.

Не могу, приписываю два слова. Слишком ясно вдруг все понялось. Вся позиция Комитета, вся осторожность и слабость его «заявлений» — все это вот отчего: в них теплится еще надежда, что царь утвердит этот комитет как официальное правительство, дав

ему широкие полномочия, может быть, «ответственность» — почем я знаю! Но еще теплится, да, да, как самое желанное, именно эта надежда. Не хотят они никакой республики, не могут они ее выдержать. А вот, по-европейски, «коалиционное министерство» утвержденное Верховной Властью... — Керенский и Чхеидзе? Ну, они из «утвержденного»-то автоматически выпадут. <...>

1 марта. Среда.

<...> Милюков хотел отпустить Щегловитова, но Керенский властно запер и его в павильон. <...>

До сих пор ни одного «имени», никто не выдвинулся. Действует наиболее ярко (не в смысле той или другой крайности, но в смысле связи и соединения всех) — Керенский. В нем есть горячая интуиция, и революционность сейчасная, я тут в него верю. Это хорошо, что он и в Комитете, и в Совете. <...>

Керенский — в советском Комитете занимает самый правый фланг (а в думском — самый левый). <...>

Протопопов, действительно, явился сам. С ужимочками, играя от страха сумасшедшего. Прямо к Керенскому: «ваше высокопревосходительство...» Тот на него накричал и приобщил к другим в павильоне. <...>

2 марта. Четверг.

<...> Сидим, сумерки, огня не зажигаем, ждем, на душе беспокойно. Страх — и уже начинающееся возмущение. Вдруг — это было уже в 6 — телефон, сообщение (самое верное, ибо от Зензинова идущее): «Кабинет избран. Все хорошо. Соглашение достигнуто».

Перечислили имена. Не пишу их здесь (это ведь история), лишь главное: премьером Львов (москвич, правее кадетов), затем Некрасов, Гучков, Милюков? Керенский (юст[иции]). Замечу следующее: революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера, кроме Керенского. Правда, он один многих стоит, но все же факт: все остальные или октябристы, или кадеты, притом правые, кроме Некрасова, который был одно время кадетом левым.

Как личности — все честные люди, но не крупные, решительно. Милюков умный, но я абсолютно не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере революции. Как он будет шагать по этой горящей, ему ненавистной, почве? Да он и не виноват будет, если

сразу споткнется. Тут нужен громадный такт; откуда — если он в несвойственной ему среде будет вертеться?

Вот Керенский — другое дело. Но он один. <...>

3 марта. Пятница.

<...> Царь, оказывается, отрекся и за себя, и за Алексея («мне тяжело расставаться с сыном») в пользу Михаила Александровича. Когда сегодня днем нам сказали, что новый кабинет на это согласился (и Керенский?), что Михаил будет «пешкой» и т. д., — мы не очень поверили. Помимо, что это плохо, ибо около Романовых завьется сильная черносотенная партия, подпираемая церковью, — это представляется невозможным при общей ситуации данного момента. Само в себе абсурдным, неосуществимым.

И вышло: с привезенным царским отречением Керенский (с Шульгиным и еще с кем-то) отправился к Михаилу. Говорят, что не без очень определенного давления со стороны депутатов (т. е. Керенского), Михаил, подумав, тоже отказался: если должно быть Учредительное собрание — то оно, мол, и решит форму правления. Это только логично. Тут Керенский опять спас положение: не говоря о том, что весь воздух против династии, Учр[едительное] с[обрание] при Михаиле делалось абсурдом; Керенский при Михаиле и с фикцией Учред[етильного] собр[ания] автоматически вылетает из кабинета; а рабочие Советов начинали черт знает что, уже с развязанными руками. Ведь в новое правительство из Совета пошел один Керенский, только — он — к своим вчерашним «врагам», Милюкову и Гучкову. Он один понял, чего требует мгновение, и решил, говорят, мгновенно, на свой страх; пришел в Совет и объявил там о своем вхождении в министерство post factum. Знал при этом, что другие, как Чхеидзе, например (туповатый, неприятный человек), решили ни в каком случае в П[равительст]во не входить, чтоб оставаться по своему «чистенькими» и действовать независимо в Совете. Но такова сила верноугаданного момента (и личного полного «доверия» к Керенскому, конечно), что пламенная речь нового министра — и тов[арища] председателя Совета — вызвала бурное одобрение Совета, который сделал ему овацию. Утвердил и одобрил то, на что «позволения» ему не дал бы, вероятно.

Итак, с Мих[аилом] Алек[сандровичем] выяснено. Керенский на прощанье, крепко пожал вел[еликому] князю руку: «Вы благородный человек». <...>

4 марта. Суббота.

<...> Доверие к Керенскому, вошедшему в кабинет, положительно спасает дело.

Даже Д. В.[5], вечный противник Керенского, вечно споривший с ним, сегодня признал: «А. Ф. оказался живым воплощением революционного и государственного пафоса. Обдумывать некогда. Надо действовать по интуиции. И каждый раз у него интуиция гениальна. Напротив, у Милюкова нет интуиции. Его речь — бестактна в той обстановке, в которой он говорил».

Это подлинные слова Д. В., и — ведь это только то сознание, к которому должны, обязаны, хоть теперь, прийти все кадеты и кадетствующие. И по сю пору не приходят, и не верю я, что придут. Я их ненавижу от страха (за Россию), совершенно так же, как их действенных антиподов, крайних левых («голых» левых с «голыми» низами).

В Керенском — потенция моста, соединение тех и других, и преображения их во что-то единое третье, революционно-творческое, (единственно-нужное сейчас).

Ведь вот: между ЭВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКИМ и РЕВОЛЮЦИОННО-РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ — пропасть в данный момент. И если не будет наводки мостов, и не пойдут по мостам обе наши теперешние, слепые, неподвижности, претворяясь друг в друга, создавая третью силу, РЕВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКУЮ, — Россия (да и обе неподвижности) свалятся в эту пропасть. <...>

7 марта. Вторник.

<...> Керенский ездил на днях в Зимний дворец. Взошел на ступени трона (только на ступени!) и объявил всей челяди, что «Дворец отныне национальная собственность», благодарил за сохранность в эти дни. Сделал все это с большим достоинством. Лакеи боялись издевок, угроз; услыхав милостивую благодарность, — толпой бросились Керенского провожать, преданно кланяясь. Керенский был с Макаровым (который это и передавал сегодня вечером у нас). Когда они ехали из дворца в открытом автомобиле — им кланялись и прохожие.

Керенский — сейчас единственный ни на одном из «двух берегов», а там, где быть надлежит: с русской революцией. Единственный. Один. Но это страшно, что один. Он гениальный интуит, однако не «всеобъемлющая» личность: одному же вообще

никому сейчас быть нельзя. А что на верной точке только один — прямо страшно.

Или будут многие и все больше, — или и Керенский сковырнется. <...>

9 марта. Четверг.

<...> Но вот... я подхожу к самому главному, чего доселе почти намеренно не касалась. Подхожу к самому сейчас острому вопросу, — вопросу о войне.

Длить умолчаний дольше нельзя. Завтра в Совете, он, кажется, будет обсуждаться решительно. В Совете? А в Правительстве? Оно будет молчать.

Вопрос о войне должен, и немедля, найти свою дорогу.

Для меня, просто для моего человеческого здравого смысла, эта дорога ясна.

Это лишь продолжение той самой линии, на которой я стояла с начала войны. И, насколько я помню и понимаю, — Керенский. (Но знать — еще ничто. Надо осуществлять знаемое. Керенский теперь — при возможности осуществления знаемого. Осуществит ли? Ведь он — один).

Для памяти, для себя, обозначу, хоть кратко, эту сегодняшнюю линию «о войне».

Вот: я ЗА войну. То есть: за ее наискорейший и достойный КОНЕЦ.

Долой побединство! Война должна изменить свой лик. Война должна теперь стать действительно войной за свободу. Мы будем защищать нашу Россию, от Вильгельма, пока он идет на нее, как защищали бы от Романова, если бы шел он. <...>

Безумным и преступным ребячеством звучат эти корявые прокламации: «...немедленное прекращение кровавой бойни...» Что это? «Глупость или измена?» — как спрашивал когда-то Милюков (о другом). Прекратите, пожалуйста, немедля. Не убивайте немцев — пусть они нас убивают. Но не будет ли именно тогда — «бойня»? Прекратить «по соглашению»? Согласитесь, пожалуйста, с немцами немедля. Ведь они-то — не согласятся. Да, в этом «немедля» только и может быть: или извращенное толстовство, или неприкрытое преступление.

Но вот что нужно и можно «немедля». Нужно не медля ни дня объявить, именно от нового русского, нашего правительства, русское новое военное «во имя». Конкретно: необходима абсолютно ясная и совершенно твердая декларация насчет

наших целей войны. Декларация, прежде всего чуждая всякому побединству. <...>

Может быть, то, что я пишу — слишком обще, грубо и наивно. Но ведь я и не министр иностранных дел. Я намечаю сегодняшнюю схему действий — и, вопреки всем политикам мира, буду утверждать, что сию минуту, для нас, для войны, она верна. Осуществима? Нет?

Даже если не осуществима. Долг Керенского — пытаться ее осуществить.

Он один. Какое несчастие. Ему надо действовать обеими руками (одной — за мир, другой — за утверждение защитной силы). Но левая рука его схвачена «глупцами или изменниками», а правую крепко держит Милюков с «победным концом». (Ведь Милюков — министр иностранных дел.) <...>

11 марта. Суббота.

<...> Когда все ушли — пришел В. Зензинов. Он весь на розовой воде (такой уж человек). <...> Насчет фронта и немцев — говорит, что Керенский был вчера в большой мрачности, но сегодня гораздо лучше.

Уверяет, что Керенский — фактический «премьер». (Если так — очень хорошо.)

Вечером — Сытин. Опять сложная история. Роман Сытина с Горьким опять подогрелся, очевидно. Какая-то газета с Горьким, и Сытин уверяет, что «и Суханов раскаивается, и они будут за войну, но я им не верю». Мы всячески остерегали Сытина, информировали, как могли. <...>

Писателям писать негде. Но мы примиряемся с ролью «тайных советников» и весьма самоотверженно ее исполняем. Сегодня я серьезно потребовала у Сытина, чтобы он поддержал газету Зензинова[6], а не Горького, ибо за Зензиновым стоит Керенский. <...>

12 марта. Воскресенье.

<...> Сытин потрясался и боялся, тем более, что от хитрости способен самого себя перехитрить. Газету Керенского клянется поддержать (идет к нему завтра сам), и в то же время проговорился, что и газету Гиммер-Горький не оставит; подозреваю, что на сотню-другую тысяч уж ангажировался. (Даст ли куда-нибудь — еще вопрос.) <...>

14 марта. Вторник.

Часов около шести нынче приехал Керенский. Мы с ним все неудержимо расцеловались.

Он, конечно, немного сумасшедший. Но пафотически-бодрый. Просил Дмитрия написать брошюру о декабристах (Сытин обещает распространить ее в миллионе экземпляров), чтобы, напомнив о первых революционерах-офицерах, — смягчить трения в войсках.

Дмитрий, конечно, и туда, и сюда: «Я не могу, мне трудно, я теперь как раз пишу роман "Декабристы", тут нужно совсем другое...»

— Нет, нет, пожалуйста, вам З. Н. поможет! Дмитрий согласился в конце концов.

Керенский — тот же Керенский, что кашлял у нас в углу, запускал попавшийся под руку случайный детский волчок с моего стола (во время какого-то интеллигентского собрания. И так запустил, что доселе половины волчка нету, где-нибудь под книжными шкафами или архивными ящиками). Тот же Керенский, который говорил речь за моим стулом в Религ.-Филос. собрании, где дальше, за ним, стоял во весь рост Николай II, а я, в маленьком ручном зеркале, сблизив два лица, смотрела на них. До сих пор они остались у меня в зрительной памяти — рядом. Лицо Керенского — узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребячески-оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все — живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая — спокойное, незначительно приятное (и, видно, очень схожее). Добрые... или нет, какие-то «молчащие» глаза. Этот офицер — точно отсутствовал. Страшно был — и все-таки страшно не был. Непередаваемое впечатление (и тогда) от сближенности обоих лиц. Торчащие кверху, короткие, волосы Пьеро-Керенского — и реденькие, гладенько-причесанные волосики приятного офицера. Крамольник — и царь. Пьеро — и «charmeur». С.-р. под наблюдением охранки — и Его Величество Император Божьей милостью.

Сколько месяцев прошло? Крамольник — министр, царь под арестом, под охраной этого же крамольника. Я читала самые волшебные страницы самой интересной книги, — Истории; и для меня, современницы, эти страницы иллюстрированы. Charmeur, бедный, как смотрят теперь твои голубые глаза? Верно, с тем же спокойствием Небытия.

Но я совсем отошла в сторону, — в незабываемое впечатление аккорда двух лиц — Керенского и Николая II. Аккорда такого диссонирующего — и пленительного, и странного.

Возвращаюсь. Итак, сегодня — это все тот же Керенский. Тот же... и чем-то неуловимо уже другой. Он в черной тужурке (министр-товарищ), как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был «элегантен», без всякого внешнего «демократизма». Он спешит, как всегда, сердится, как всегда... Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и однако она уже есть. Она чувствуется.

Бранясь «налево», Керенский о группе Горького сказал (чуть-чуть «свысока»), что очень рад, если будет «грамотная» большевистская газета, она будет полемизировать с «Правдой», бороться с ней в известном смысле. А Горький с Сухановым будто бы теперь эту борьбу и ставят себе задачей. «Вообще, ведут себя теперь хорошо».

Мы не возражали, спросили о «дозорщиках». Керенский резко сказал:

— Им предлагали войти в кабинет, они отказались. А теперь не терпится. Постепенно они перейдут к работе и просто станут правительственными комиссарами.

Относительно смен старого персонала, уверяет, что у синодального Львова есть «пафос шуганья» (не похоже), наиболее трусливые Милюков и Шульгин (похоже).

Бранил Соколова.

Дима спросил: «А вы знаете, что Приказ № 1 даже его рукой и написан?»

Керенский закипел.

— Это уже не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится.

Бегал по комнате, вдруг заторопился:

— Ну, мне пора... Ведь я у вас «инкогнито»...

Непоседливый, как и без «инкогнито», — исчез. Да, прежний Керенский, и — на какую-то линийку — не прежний.

Быть может, он на одну линийку более уверен в себе и во всем происходящем — неужели нужно?

Не знаю. Определить не могу. <...>

18 марта. Суббота.

[...] Газеты почти все — панические. И так чрезмерно говорят за войну (без нового голоса, главное), что вредно действуют.

Долбят «демократию», как глупые дятлы. Та, пока что, обещает (кроме «Правды», да и «Правда» завертелась) — а они долбят.

Особенно неистов Мзура[7] из «Вечернего времени». Как бы об этом Мзуре чего в охранке не оказалось... Я все время жду.

Нет, верные вещи надо уметь верно сказать, притом чисто и «власть имеюще».

А правительство (Керенский) — молчит. <...>

25 марта. Суббота.

Пропускаю дни.

Правительство о войне (о целях войны) — молчит.

А Милюков, на днях, всем корреспондентам заявил опять, прежним голосом, что России нужны проливы и Константинополь[8]. «Правдисты» естественно взбесились. Я и секунды не останавливаюсь на том, что нужны ли эти чертовы проливы нам или не нужны. Если они во сто раз нужнее, чем это кажется Милюкову — во сто раз непростимее его фатальная бестактность. Почти хочется разорвать на себе одежды. Роковое непонимание момента, на свою же голову! (и хоть бы только на свою).

Керенский должен был официально заявить, что «это личное мнение Милюкова, а не пр[авительст]ва». То же заявил и Некрасов. Очень красиво, нечего сказать. Хорошая дорога к «укреплению» пр[авительст]ва, к поднятию «престижа власти». А декларации нет, как нет. <...>

Вчера поздно, когда все уже спали и я сидела одна — звонок телефона. Подхожу — Керенский. Просит: «Нельзя ли, чтобы кто-нибудь из вас пришел завтра утром ко мне в министерство... Вы, З. Н., я знаю, встаете поздно...» «А Дм. Вл. Болен, я попрошу Дм. Серг[еевич]ча прийти, непременно...» — подхватываю я. Он объясняет, как пройти...

И сегодня утром Дмитрий туда отправился. Не так давно Дмитрий поместил в «Дне» статью под заглавием «14 марта». «Речь» ее отвергла, ибо статья была тона примирительного и во многом утверждала декларацию советов о войне[9]. Несмотря на то, что Дмитрий в статье стоял ясно на правительственном, а не на советском берегу, и строго это подчеркивал, — «Речь» не могла вместить; она круглый враг всего, что касается революции. Даже не судит, — отвергает без суда. Позиция непримиримая (и слепая). Если б она хоть была всегда скрытая, а то прорывается, и в самые неподходящие моменты!

Но Дмитрий в статье указывал, однако, что должно правительство высказаться.

К сожалению, Дмитрий вернулся от Керенского какой-то растерянный и без толку, путем ничего не рассказал. Говорит, что

Керенский в смятении, с умом за разумом, согласен, что правительственная декларация необходима. Однако не согласен с манифестом 14 марта, ибо там есть предавание западной демократии. (Там есть кое-что похуже, но кто мешает взять только хорошее?) Что декларация пр-вом теперь вырабатывается, но что она вряд ли понравится «дозорщикам» и что, пожалуй, всему пр-ву придется (поэтому??...). О Совете говорил, что это «кучка фанатиков», а вовсе не вся Россия, что нет «двоевластия» и пр-во одно. Тем не менее тут же весьма волновался по поводу этой «кучки» и уверял, что они делают серьезный нажим в смысле мира сепаратного.

Дмитрий, конечно, сел на своего «грядущего» Ленина, принялся им Керенского во всю пугать; говорит, что и Керенский от Ленина тоже в панике, бегал по кабинету (там сидел и глухарь-Водовозов[10]), хватался за виски: «Нет, нет, мне придется уйти».

Рассказ бестолковый, но, кажется, и свидание было бестолковое. Хотя я все-таки очень жалею, что не пошла с Дмитрием. <...>

5 апреля. Среда. Вот как долго я здесь не писала.

<...> Была, наконец, эта долгожданная, запоздавшая, декларация Пр-ва о войне[11].

Хлипкая, слабая, безвластная, неясная. То же, те же, «без аннексий», но с мямленьем, и все вполголоса, и жидкое «оборончество» — и что еще?

Если теперь не время действовать смелее (хотя бы с риском), то когда же? Теперь за войну мог бы громко звучать только голос того, кто ненавидел (и ненавидит) войну.

Тех «действий обеими руками» Керенского, о которых я писала, из декларации не вытекает. Их и не видно. <...>

Будь, что будет. Я хочу думать, хочу, — что будет хорошо. Я верю Керенскому, лишь бы ему не мешали. Со связанными руками не задействуешь. Ни твердости, ни власти не проявишь (именно власть нужна).

Пока — кроме СЛОВ (притом безвластных и слов-то) ничего от Пр-ва нашего нет. <...>

4 мая.

Беспорядочность сведений продолжается. Знаем, что ушел Милюков (достукался), вместо него Терещенко. Это фигура... никакая, «меценат» и купчик-модерн. Очевидно, его взяли за то, что

по-английски хорошо говорит. Вместо Гучкова — сам Керенский. Это похоже на хорошее. Одна рука у него освободилась. Теперь он может поднять свой голос.

«Побединцы» в унынии и панике. Но я далеко еще не в унынии и от войны. Весь вопрос, будет ли Керенский действовать обеими руками. И найдет ли он себе необходимых помощников в этом деле. Он один в верной линии, но он — один. <...>

20 мая. Суббота.

<...> Керенский военный министр. Пока что — он действует отлично. Не совсем так, как я себе рисовала, отчетливых действий «обеими руками» я не вижу (может быть, отсюда не вижу?), но говорит он о войне прекрасно. <...>

Керенский — настоящий человек на настоящем месте. The right man on the right place, как говорят умные англичане. Или — the right man on the right moment?[12] А если только for one moment?[13] Не будем загадывать. Во всяком случае он имеет право говорить о войне, за войну — именно потому, что он против войны (как таковой). Он был «пораженцем» — по глупой терминологии «побединцев». (И меня звали «пораженкой»). <...>

18 июня. Воскресенье.

<...> Началась «вольница», дезертирство. Начались разные «республики» — Кронштадт, Царицын, Новороссийск, Кирсанов[14] и т. д. В Петербурге «налеты» и «захваты», на фронте разложение, неповиновение и бунты. Керенский неутомимо разъезжает по фронту и подправляет дела то там, то здесь, но ведь это же невозможно! Ведь он должен создать систему, ведь его не хватит, и никого одного не может хватить. <...>

26-го июля.

<...> За это время: кризис правительства дошел до предела. Керенский подал в отставку. Все испугались, заседали ночами, решили просить его остаться и самому составить кабинет. Раньше он пытался сговориться с кадетами, но ничего не вышло: кадеты против декларации 8 июля[15] (какая это?). Затем история с Черновым, который открыто ведет себя максималистом[16]. (По-моему — Чернов против Керенского: задыхается от тщеславной зависти.) <...>

А сегодня — краткие и дикие сведения по телеграмме: правительство Керенским составлено — неожиданное и (боюсь) мертворожденное. Не видно его принципа. Веет случайностью, путанностью. Противоречиями.

Премьер, конечно, Керенский (он же военный министр), его фактический товарищ («управляющий военным ведомством») — наш Борис Савинков (как? когда? откуда? Но это-то очень хорошо). <...>

Петербург. 8 августа. Вторник.

Сегодня в 6 час. вечера приехали, с приключениями и муками, с разрывом поезда.

Через два часа после приезда у нас был Борис Савинков. Трезвый и сильный. Положение обрисовал крайне острое.

Вот в кратких чертах: у нас ожидаются территориальные потери. На севере — Рига и далее, до Нарвы, на юге — Молдавия и Бессарабия. Внутренний развал экономический и политический — полный. Дорога каждая минута, ибо это минуты — предпоследние. Необходимо ввести военное положение по всей России. Должен приехать (послезавтра) из Ставки Корнилов, чтобы предложить, вместе с Савинковым, Керенскому принятие серьезных мер. На предполагающееся через несколько дней Московское Совещание Правительство должно явиться не с пустыми руками, а с определенной программой ближайших действий. Твердая власть.

Дело, конечно, ясное и неизбежное, но... что случилось? Где Керенский? Что тут произошло? Керенского ли подменили, мы ли его ранее не видели? Разрослось ли в нем вот это, — останавливающееся перед прямой необходимостью: «взять власть», начало, я еще не вижу. Надо больше узнать. Факт, что Керенский — боится. Чего? Кого?

9 августа. Среда.

Утром был Карташев (о нем, нынешнем «министре исповеданий», потом. Безотрадно). Были и другие люди. Затем, к вечеру, опять приехал Борис.

В эту ночь он очень серьезно говорил с Керенским. И — подал в отставку. Все дело висит на волоске.

Завтра должен быть Корнилов. Борис думает, что он, пожалуй, вовсе не приедет.

Что же сталось с Керенским? По рассказам близких — он неузнаваем и невменяем. Идея Савинкова такова: настоятельно нужно,

чтобы явилась наконец действительная власть, вполне осуществимая в обстановке сегодняшнего дня при такой комбинации: Керенский остается во главе (это непременно), его ближайшие помощники-сотрудники — Корнилов и Борис. Корнилов — это значит опора войск, защита России, реальное возрождение армии; Керенский и Савинков — защита свободы. При определенной и ясной тактической программе, на которой должны согласиться Керенский и Корнилов (об этой программе скажу в свое время подробнее), нежелательные элементы в Пр[авительст]ве, вроде Чернова, выпадают автоматически. <...>

На Корнилова Савинков тоже смотрит очень трезво. Корнилов — честный и прямой солдат. Он, главным образом, хочет спасти Россию. Если для этого пришлось бы заплатить свободой, он заплатил бы, не задумываясь.

— Да и заплатит, если будет действовать один, и после очередных разгромов, — говорит Савинков. — Он любит свободу, я это знаю совершенно твердо. Но Россия для него первое, свобода — второе. Как для Керенского (поймите, это факт, и естественный), свобода, революция — первое, Россия — второе. Для меня же (м. б., я ошибаюсь), для меня эти оба сливаются в одно. Нет первого и второго места. Неразделимы. Вот потому-то я хочу непременно соединить сейчас Керенского и Корнилова. Вы спрашиваете, останусь ли я действовать с Корниловым, или с Керенским, если их пути разделятся. Я представляю себе, что Корнилов не захочет быть с Керенским, захочет против него, один, спасать Россию. В ставке темные элементы; они, к счастью, ни малейшего влияния на Корнилова не имеют. Но допустим... Я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него, без Керенского, не верю. Я это в лицо говорил самому Корнилову. Говорил прямо: тогда мы будем врагами. Тогда и я буду в вас стрелять, и вы в меня. Он, как солдат, понял меня тотчас, согласился. Керенского же я признаю сейчас, как главу возможного русского правительства, необходимым; я служу Керенскому, а не Корнилову; но я не верю, что и Керенский, один, спасет Россию и свободу; ничего он не спасет. И я не представляю себе, как я буду служить Керенскому, если он сам захочет оставаться один и вести далее ту колеблющуюся политику, которую ведет сейчас. Сегодня, в нашем ночном разговоре, подчеркнулись эти колебания. Я счел своим долгом подать в отставку. Он ее не то принял, не то не принял. Но дело нельзя замазывать. Завтра я ее повторю решительно.

Я свела многое из слов Савинкова вместе. Начинаю кое-что улавливать.

Поразительно: Керенский точно лишился всякого понимания. Он под перекрестными влияниями. Поддается всем чуть не по-женски. Развратился и бытовым образом. Завел (живет — в Зимнем дворце!) «придворные» порядки, что отзывается несчастным мещанством, parvenu. Он никогда не был умен, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные, медовые дни прекраснодушия и наступили суровые (ой, какие суровые!) будни. И опьянел он... не от власти, а от «успеха» в смысле шаляпинском. А тут еще, вероятно, и чувство, что «идет книзу». Он не видит людей. Положим, этого у него и раньше не было, а теперь он окончательно ослеп (теперь, когда ему надо выбирать людей!). Он и Савинкова принял за «верного и преданного ему душой и телом слугу» — только. Как такого «слугу» и вывез его, скоропалительно, с собой, — с фронта. (Кажется, они были вместе во время июньского наступления[17].) И заволновался, забоялся, когда приметил, что Савинков не без остроты... Стал подозревать его... в чем? А тут еще миленькие «товарищи» с.-ры, ненавидящие Савинкова-Ропшина...

А Керенский их боится. Когда он составлял последнее министерство, к нему пришла троица из Ц[ентрального] и[сполнительного] ком[итета] эс-эровской п[артии] с ультиматумом: или он сохраняет Чернова, или партия с-ров не поддерживает Пр[авительст]во. И Керенский взял Чернова, все зная и ненавидя его.

Да, ведь еще 14 марта, когда Керенский был у нас впервые министром (юстиции тогда), в нем уже чувствовалась, абсолютно неуловимая, перемена. Что это было? Что-то... И это «что-то» разрослось...

10 августа. Четверг.

Безумный день. Часов в 8 вечера приехал Савинков. Сказал, что все кончено. Что он решил со своей отставкой. Просил вызвать Карташева. (Карт[ашев] несколько в курсе дела и Савинкову сочувствует.)

— Но Карташев теперь, наверное, в Зимнем дворце, — возражаю я.

— Нет, дома, вечернее заседание отменено.

Звоню. Карташев дома, обещает прийти. Узнаем от Бориса следующее.

Корнилов, оказывается, сегодня приехал. Телеграмму, где Керенский «любезно» разрешил ему не приезжать «если не удобно», — получить не успел[18].

С вокзала отправился прямо к Керенскому. Неизвестно, что было говорено на этом первом заседании; но Корнилов приехал, тотчас после него, — к Савинкову, и с какою-то странною подозрительностью.

Час разговора, однако, совершенно рассеял эту подозрительность. И Корнилов подписал знаменитую записку (программу) о необходимых мерах в армии и в тылу. Подписал ее и Савинков. И, приехавший с Корниловым, помощник Савинкова в бытность его комиссаром, — Филоненко. (Неизвестный нам, но почему-то Борис очень стоит за него.)

После этого Керенский опять потребовал к себе Корнилова, отменив общее прав[ительственно]ное заседание, а допустив лишь Терещенку и еще кого-то.

А Савинков поехал к нам. Корнилов сегодня же уезжает обратно. Савинков отправится провожать его в вагон часам к 12 ночи.

— Хотите, я прочту вам записку? — предложил Борис. — Она со мной, у меня в автомобиле.

Сбегал, принес тяжелый портфель. И мы принялись за чтение.

Прочел ее нам Савинков всю, полностью. Начиная с подробнейшего, всестороннего отчета о фактическом состоянии фронта (потрясающе оно даже внешне!) и кончая таким же отчетливым изложением тех немедленных мер, какие должны быть приняты и на фронте, и в тылу. Эта длиннейшая записка, где обдумано и взвешено каждое слово, найдет когда-нибудь своего комментатора — во всех случаях не пропадает. Я скажу лишь главное: это без спора тот minimum, который еще мог бы спасти честь революции и жизнь России при ее данном, неслыханном, положении.

Дима, впрочем, находит, что «кое-что в записке продумано недостаточно, а кое-что поставлено слишком остро, напр., милитаризация железных дорог». Но важен ее принцип: «соединение с Корниловым, поднятие боеспособности армии без помощи советов, оборона, как центральная прав[ительствен]ная деятельность, беспощадная борьба с большевиками».

Я думая, что да, будет еще с Керенским торговля... Но, кажется, это и в деталях minimum, вплоть до милитаризации железных дорог и смертной казни в тылу (какое же иначе общее военное положение?). Воображаю, как заорут «товарищи»! (А Керенский их боится, вот это надо помнить.)

Они заорут, ибо увидят тут «борьбу с советами», — безобразным, уродливо разросшимся явлением, расссадником большевизма, явлением, перед которым и ныне «демократические лидеры»

и под-лидеры, не большевики, благоговейно склоняются. Какая-то непроворотимая, глупая преступность!

Они будут правы, это борьба с Советами, хотя прямо в записке ничего не сказано об уничтожении Советов. Напротив, Борис сказал даже, что «нужно сохранить войсковые организации, без них невозможно». Но никакие комитеты не должны, конечно, вмешиваться в дела командования. Их деятельность (выборных организаций) ограничивается.

А все же это (наконец-то!) борьба с Советами. И как иначе, если вводится серьезная, настоящая борьба с большевиками?

К половине чтения записки пришел Карташев. Дослушали вместе.

Сегодня Карташев видел Керенского, т. е. потребовал впуска к нему в кабинет не официального. (Вот как теперь! Не прежний свой брат-интеллигент, вечно вместе на частных собраниях!) Сказал, говорит, ему все, что хотел сказать, и ушел, ответа намеренно не требуя. Да кстати тут пришел полковник Барановский («нянька» Керенского, по выражению Карташева) и лучше было удалиться. <...>

11 августа. Пятница.

<...> В 7 часов уже приехал Борис.

Сегодня он официально понес бумагу об отставке Керенскому.

— Вот мое прошение, г. министр. Оно принято?

— Да.

Небрежно бросил бумагу на стол. Раздражен, возбужден, почти в истерике.

(Ведь вот зловредный корень всего: Керенский не верит Савинкову, Савинков не верит Керенскому, Керенский не верит Корнилову, но и Корнилов ему не верит. Мелкий факт: вчера Корнилов ехал по вызову, однако мог думать, что и для ареста: приехал, окруженный своими «зверями-текинцами»[19].)

Сцена продолжается. После того, как прошение было «принято», Савинков попросил позволения сказать несколько слов «частным образом». Он заговорил очень тихо, очень спокойно (это он умеет), но чем спокойнее он был, тем раздраженнее Керенский.

— Он на меня кричал, до оскорбительности высказывая недоверие...

Савинков уверяет, что он, хотя разговор был объявлен «частным», держал себя «по-солдатски» перед начальственной истерикой г. министра. Охотно верю, ибо тут был свой яд. Керенский пуще бесился и положения не выигрывал.

Но выходит полная нелепица. Керенский не то подозревает его в контрреволюционстве, не то в заговоре — против него самого.

— Вы — Ленин, только с другой стороны! Вы — террорист! Ну, что ж, приходите, убивайте меня. Вы выходите из правительства, ну что ж! Теперь вам открывается широкое поле независимой политической деятельности.

На последнее Борис, все тем же тихим голосом, возразил, что он уже «докладывал г. министру»: после отставки он уйдет из политики, поступит в полк и уедет на фронт.

Внезапно кинувшись в сторону, Керенский стал спрашивать, а где Борис был вчера вечером, когда Корнилов поехал к нему?

— Если вы меня допрашиваете, как прокурор, то я вам скажу: я был у Мережковских.

Затем «г. министр» вновь бросился на контрреволюцию и стал бессмысленно грозить, что сам устроит всеобщую забастовку, если свобода окажется в опасности (???).

По привычке всегда что-нибудь вертеть в руках (вспомним детский волчок с моего стола, половина которого так и пропала под шкафами), тут Керенский вертел карандаш, да, кстати, и «прошение» Савинкова. Карандаш нервно чертил на прошении какие-то буквы. Это были все те же: «К», «С», потом опять «К»... После многих еще частностей, упреков Керенского в каком-то «недисциплинарном» мелком поступке (не то Савинков из Ставки не в тот день приехал, не то в другой туда выехал), после препирательства о Филоненко: «Я не могу его терпеть. Я ему уже совершенно не доверяю». На что Савинков отвечал: «А я доверяю и стою за него», — после всех этих деталей (быть может, я их путаю) — Керенский закончил выпадом, очень характерным. Теребя бумагу, исчерченную «К», «С» и «К», — резко заявил, что Савинков напрасно возлагает надежды на «триумвират»: есть «К», и оно останется, а другого «К» и «С» — не будет.

Так они расстались. Дело, кажется, хуже, чем — ...сейчас, когда я это пишу, после 2-х ночи, — внезапный телефонный звонок.

— Allo!

— Это вы, З. Н.?

— Да. Что, милый Б. В.?

— Я хотел с вами посоветоваться. Сейчас узнал, что Керенский хочет, чтобы я взял назад свою отставку. Что мне делать?

— Как это было? Он сам?..

— Нет, но я знаю это официально. Он уехал сегодня в Москву, на совещание[20].

Конечно, первое мое слово было за то, чтоб он остался, чтобы еще продолжал борьбу. Дело слишком важно...

— Хорошо, я подумаю...

С головокружительной быстротой все меняется. Керенский мечется, словно в мышеловке. Завтра совещание.

12 августа. Суббота.

Борис был, как всегда. Керенскому он дал знать, что согласен остаться на известных условиях.

На Керенского будто бы повлияла телеграмма Корнилова, который требовал, чтобы Сав[инко]ва не удалять, а также то, что все кадеты явились к нему с отставками, едва он их умаслил. Не знаю...

Любопытно составлял Керенский свое последнее (летом) министерство. В Царском. Савинков сам писал лист. Там был прежде всего Плеханов. Затем бабушка Брешковская (вместо Чернова, как имя). Бабушке была послана срочная телеграмма, и Керенский волновался, что она во время не приедет, только через 24 часа. Вместе, Керенский с Савинковым, ездили на автомобиле к Плеханову.

Плеханов согласился.

Затем, в ночь, Керенский поехал в Санкт-Петербург, в Зимний дворец.

И — говорит Савинков — тут же к нему зашмыгали всякие «либерданы» (кличка мелкой сошки из кучек «Либера» и «Дана»). Один — в очках, другой — в pince-nez, третий — без ничего; под конец явилась знаменитая делегация из Гоца, Зензинова и еще кого-то, с ультиматумом насчет Чернова. И к утру от списка не осталось ни черта. Савинкову было поручено послать Плеханову телеграмму с отказом и встретить на вокзале Брешковскую с извинением: напрасно, мол, тревожились.

Таким образом и составилось «коалиционное» министерство, которого из Кисловодска «нельзя было понять». Нельзя, не зная, что происходит за кулисами.

Да, везде и всегда кулисы...

13 августа. Воскресенье.

Сегодня первый раз, что Борис у нас не был. Совещание в Москве открылось (там — частичная забастовка[21], у нас — тихо[22]).

Керенский сказал длинную речь. Если не считать появившегося у него заплетания языка, — обыкновенную свою речь: пафотическую,

местами недурную. Только уже несовременную, ибо опять не деловую, а «праздничную». (Праздник у нас, подумаешь!) Затем говорил Авксентьев, затем Прокопович. И затем... мы ничего не знаем, ибо вечерних газет не было, редакции пусты, да и завтра не будет газет — «товарищив-наборщики “праздничают”».

Ввергнувшись сразу в пучину здешних «дворцовых» дел, я не успела ничего сказать о бытовом Петербурге и внешнем виде его. Он, действительно, весьма нов.

Часто видела я летний Петербург. Но в таком сером, неумытом, и расхлястанном образе не был он никогда. Кучами шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать... это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого.

Наш «быт» сводится к заботе о «хлебе насущном». После юга мы сразу перешли почти на голодный паек. О белом хлебе забыли и думать. Но что еще будет!

14 августа. Понедельник.

Днем был Л[яцкий][23].

Рассказывал, как он, по нынешней его должности «комиссара печати» (или вроде), закрывал и арестовывал «Правду» после июльских дней. Много любопытного также рассказывал о нынешней «придворности» Керенского... [О его «Елене», которая теперь лежит на всех диванах Зимнего дворца. Это старый роман[24], начавшийся у Керенского еще в финляндской санатории (где тогда и Ляцкий жил). Я лишь мельком встречалась с женой Керенского, Ольгой Львовной (у нас она не бывала, уж так повелось издавна, что «жен» в интеллигентских кружках не бывает). Она мне показалась довольно хорошенькой, грустной и тихой. Но, должно быть, эта грусть и надоела восторженному и прыткому Керенскому. По крайней мере, он, не стесняясь, воскликнул как-то перед Ляцким: — «Ольга Львовна? Да ведь это ходячая панихида!» Впрочем, он с семьей не порвал, несмотря на «Елену в Зимнем дворце». Семья живет в прежней скромной квартирке, и «премьер» там ее иногда навещает (у него два мальчика, очень, говорят, милых). Однако такое положение, и близость Елены, началось именно с Зимнего дворца. «Министр юстиции» жил еще у себя, с женой, и дети бегали в Министерстве (юстиции. — *Сост.*), когда Дмитрий весной ездил туда к Керенскому][25].

Л[яцкий] с досадой говорил о нем. Очень за Савинкова. Просил его познакомить с ним.

Московское сов[ещание], по-видимому, скрипит и трещит. Все полно глупыми слухами, как дымом... которого, однако, нет без огня. Факт тот, что Корнилов торжественно явился в Москву, не встреченный Керенским и даже будто бы вопреки категорическому приказу Керенского не являться, — торжественным кортежом проследовал к Иверской, и толпы народа кричали «ура». Затем он выступал на Совещании. Тоже овация. А кучке, демонстративно молчащей, кричали: «Изменники! гады!»

Впрочем, тут же и Керенскому сделали овацию.

Керенский — вагон, сошедший с рельс. Вихляется, качается, болезненно, и — без красоты малейшей. Он близок к концу, и самое горькое, если конец будет без достоинства.

Я его любила прежним (и не отрекаюсь), я понимаю его трудное положение, я помню, как он в первые дни свободы «клялся» перед Советами быть всегда с «демократией», как он одним взмахом пера «навсегда» уничтожил смертную казнь... Его стали носить на руках. И теперь у него, вероятно, двойной ужас, и праведный и неправедный, когда он читает ядовитенькие стишки в поднимающей голову «Правде»:

Плачет, смеется,
В любви клянется,
Но кто поверит —
Тот ошибется...

Праведный ужас: ведь если соединиться с Корниловым и Савинковым, ведь это измена «клятвам Совету», и опять «смертная казнь», — «измена моей весне». Я клялся быть с демократией, «умереть без нее» — и должен действовать без нее, даже как бы против нее. В этом ужасе есть внутренний трагизм, хотя при большей глубине ума и души — он не последний. Т. е. это драма, а не трагедия.

[Второй ужастик — совсем маленький, мелкий: «Меня вознесла демократия... Кто же меня будет носить на руках? Я лишусь популярности...»][26]

Но перед Керенским сейчас только два пути достойных, только два. Или впредь вместе с Корниловым, Савинковым и знаменитой программой, или, если не можешь, нет нужной силы, объяви тихо и открыто: вот какой момент, вот что требуется, но я этого не вме-

щаю, и потому ухожу. И уйти... уже не бутафорски, а по-человечески, бесповоротно. Я боюсь, что оба пути слишком героичны... для Керенского. Оба, даже второй, человеческий. И он ищет третьего пути, хочет что-то удержать, замазать, длить дленье... Третьего нет, и Керенский найдет «беспутность», найдет бесславную гибель... и хорошо, если только свою. В такой момент и на таком месте человек обязан быть героичен, обязан выбрать, или...

Или — что? Ничего. Посмотрим. Увидим. Не время еще задавать «последние» вопросы. Один из них хотела я задать себе: а понимает ли Керенский маленькое, коротенькое, простое словечко: — РОССИЯ?

Довольно пока о Керенском. Борис был нынче вечером. Томится от выжидательного безделья и неопределенного своего положения. Дела сдал несколько дней тому назад, но никто их не делает, все военное ведомство и министерство пока остановилось.

От этого «канительного» состояния, которое Борису очень не по характеру, он уже стал ездить в «Привал комедиантов». Утешается, что там он — писатель и поэт Ропшин.

А то, говорит, я уже и забыл... (Это жаль, он очень талантлив).

Ну, посмотрим, посмотрим.

17 августа. Четверг.

<...> Борис бывал все дни. В том же состоянии ожиданья.

Московское сов[ещание] развертывалось приблизительно так, как мы ожидали. П[равительст]во «говорило» о своей силе, но силы ни малейшей не чувствовалось. Трагическое лицо Керенского я точно видела отсюда...

Вчера Борис сидел недолго.

Был последний вечер неизвестности — утром сегодня, 17-го, ожидался из Москвы Керенский.

Борис обещал известить нас мгновенно по выяснении чего-нибудь.

И сегодня, часу в седьмом — телефон. Ротмистр Миронович. Сообщает мне, «по поручению управляющего военным ведомством», что «отставка признана невозможной», он остается.

Прекрасно.

А около восьми, перед ужином, является и сам Борис. Вот, что он рассказывает.

К Керенскому, когда он нынче утром приехал, пошли с докладом Якубович[27] и Туманов[28]. Очень долго и, по видимости, бесплодно, с ним разговаривали. Он — ни с чем не соглашается. Филоненку

ни за что не хочет оставить. (Тут же и телогрей его Барановский; он тоже за Савинкова, хотя и робеет.) Каждый раз, когда Туманов и Якубович предлагали вызвать самого Савинкова, — Керенский делал вид, что не слышит, хватался за что ни попадя на столе, за газету, за ключ... обыкновенная его манера. Отставку Савинкова, которую они опять ему преподнесли (для «резолюции», что ли? Неужели ту, исчерченную?), — небрежно бросил к себе в стол. Так ни с чем они и ретировались.

Между тем в это же время Савинков получает через адъютанта приглашение явиться к Керенскому. По дороге сталкивается с выходящими из кабинета своими защитниками. По их перевернутым лицам видит, что дело плохо. В этом убеждении идет к «г. министру».

Свидание произошло, наедине, даже без Барановского.

— Он мне сказал, — повествует Савинков, — и довольно спокойно, вот что: «На Московском совещании я убедился, что власть правительства совершенно подорвана, — оно не имеет силы. Вы были причиной, что и в Ставке зародилось движение контрреволюционное, — теперь вы не имеете права уходить из Правительства, свобода и родина требуют, чтобы вы остались на своем посту, исполнили свой долг перед ними...» Я так же спокойно ему ответил, что могу служить только при условии доверия с его стороны — ко мне и к моим помощникам... «Я вынужден оставить Филоненко», — перебил меня Керенский. Так и сказал «вынужден». Все более или менее выяснилось. Однако мне надо было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был последний его разговор со мною. — Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого еще не могу. Вы разве забыли?

Он подошел ко мне, странно улыбнулся... «Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я... больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить и никто меня не может оскорбить...»

Савинков вышел от него и сразу был встречен сияющими и угодливыми лицами. Ведь тайные разговоры во дворцах мгновенно делаются явными для всех...

В 4 часа было общее заседание Пр[авительст]ва. И там Савинкова встречали всякими приветливыми улыбками. Особенно старался Терещенко. Авксентьев кислился. Чернова не было вовсе.

На заседании — вопль Зарудного по поводу взорвавшейся и сгоревшей Казани[29]. Требовал серьезных мер. Керенский круто повернул в ту же сторону. Образовали комиссию, в нее включился

тотчас и Савинков. Он надеется завтра предложить к подписи целый список лиц для ареста.

Борис в очень добром духе. Знает, что Керенский будет еще «торговаться», что много еще кое-чего предстоит, но все-таки утверждает:

— Первая линия окопов взята.

— Их четыре... — возражаю я осторожно.

Записка Корнилова ведь еще не подписана. Однако, — если не ждать вопиющих непоследовательностей, — должна быть подписана.

Как все это странно, если вдуматься. Какая драма для благородной души. Быть может, душа Керенского умирает перед невозможностью для себя —

«...Нельзя! Ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И надо! — твердит глубина неизмеренная
Моей любви».

Есть души, которые, услыхав повелительное «Иди, убей», — умирают, не исполняя.

(Впрочем, я увлекаюсь во всех смыслах. Драмы личные здесь не пример. Здесь они отступают.)

В Савинкове — да, есть что-то страшное. И ой-ой, какое трагичное. Достаточно взглянуть на его неправильное и замечательное лицо со вниманием.

Сейчас он, после всего этого дня, сидел за моим столом (где я пишу) и вспоминал свои новые стихи (рукописи у него заграницей). Записывал. И ему ужасно хотелось, чтобы это были «хорошие» стихи, чтобы мне понравились. (Ропшин — поэт — такой же мой «крестник», как и Ропшин-романист. Лет 6 тому назад я его толкнула на стихи, в Каннах, своим сонетом, затем терцинами.)

— Знаете, я боюсь... Последнее время я писал несколько иначе, свободным стихом. И я боюсь... Гораздо больше, чем Корнилова.

Я улыбаюсь невольно.

— Ну что ж, надо же и вам чего-нибудь бояться. Кто это сказал: — «только дурак решительно ничего не боится?..»

Кстати, я ему тут же нашла одно его прежнее стихотворение, со словами:

«...Убийца в Божий град не вниидет...
Его затопчет Рыжий Конь...»[30]

Он прочел (забыл совсем) и вдруг странно посмотрел:

— Да, да...так это и будет. Я знаю, что я... умру от покушения.

Это был вовсе не страх смерти. Было что-то больше этого.

18 августа. Пятница.

Сегодня мы на обед позвали Савинкова и, по уговору с ним, Л[яцкого], Дмитрий позвал, попозже, Руманова, который тоже бабочкой полетел на Савинкова. (Крылышки бы не обжег.)

Мы были вчетвером. Скоро Борис заторопился (теперь уж не сможет так ездить к нам, влез в каторжную работу).

Л[яцкий] попросил его подвезти; Руманов пошел лезть в свой автомобиль, а Борис вызвал меня и Дмитрия на секунду в другую комнату, чтобы сказать несколько слов. Сегодня Керенский лично говорил Лебедеву[31], что хочет быть министром без портфеля, что так все складывается, что так лучше.

Конечно, так всего лучше — и естественнее для совести Керенского. Это — принятие «первого» пути, конечно (власть К. К. С. [32]), но это смягчение форм, которые для Керенского и не свойственны. Пусть он отдает себя на делание нужное; положит на него свою душу. Такая душа спасается и спасет, ибо это тоже «героизм».

20 августа. Воскресенье.

<...> Продолжаю не понимать. Позиция партии с-ров сейчас, несомненно, преступная. А лично, в самых честных, самых чистых (говорю только о них) младенчество какое-то, и не знаешь, что с этим делать...

Что они думают о «комбинации» и о принципе «Записки»?

О, какие детски-искренние, преступно-путанные речи! Они, сами, вовсе не против «серьезных мер». Даже так: если Каледин с казаками спасет Россию — пусть. И тут же: комбинация Керенский-Корнилов-Савинков — пуф, авантюра, вводить военное положение в тылу — нельзя, «репрессивные» меры невозможны, милитаризация железных дорог — невводима; нельзя «превращать страну в казармы» и грозить смертной казнью. Наконец, «если только эта «записка» будет Керенским подписана, — министерство взорвется, все социалисты уйдут или будут отозваны, и мы сами, первые (наша партия), пойдем «ПОДЫМАТЬ ВОССТАНИЕ».

За точность слов ручаюсь. Воочию вижу полную картину слепого «партийного» плена. Добровольного кандального рабства. Сила

гипноза, очарования, «большинства». Партия с-эров сейчас вся как-то болезненно распухла, раздалась вширь («землица!»), у них (у лучших) наивное торжество: вся Россия стала эс-эровской! Все «массы» с нами!

Торжествуя, «большинство» и максимальничает; максимализм лучшего меньшинства — только от невозможности не быть со «всеми».

Кое-кто, самоутешаясь, наивно мечтает изнутри «править» ЦК, а через него направлять и стихийную часть партии. Мне даже странно это выписывать. Какая устрашающая мечтательность!

Кончаю. Еще одно вот только, самое трудное (и о чем почти не говорили!). Это что немцы перешли Двину, Рига наверно будет взята — если только уже не взята в данный момент.

21 августа. Понедельник.

Взята[33].

Мы отходим на линию Чудского озера — Псков. Очень хорошо. Правительство отнеслось к этому фаталистически-вяло. Ожидали, мол.

Города не разобрать. Что — он? Очевидно, нет воображения. На Выборгской заходили большевики с плакатами: «немедленный мир!» Все значит, идет последовательно. Дальше. <...>

Сейчас (поздно вечером) мне звонил Л[яцкий]. Говорил, что оказал весьма сильное давление на Керенского в том смысле, чтоб передать Савинкову и военное, и морское министерство. (К Борису за эти дни несколько раз заезжал Керенский; подолгу говорил с ним.)

Далее Л[яцкий] сообщил, что, для подкрепления, он еще пишет об этом же Керенскому письмо. Я посоветовала краткость и определенность.

Ах, все это, все это — поздно! Опять, как вечно у нас: «рано! рано!» до тех пор, пока делается: «поздно».

Все согласны, что революция у нас произошла не вовремя. Но одни говорят, что «рано», другие, что «поздно». Я, конечно, говорю — «поздно». Увы, да, поздно. Хорошо, если не «слишком», а только «немного» поздно. <...>

Штюрмер умер в больнице? Несчастный «царедворец». Помню его ярославским губернатором. Как он гордился своими предками, книгой царственных автографов, дедовскими масонскими знаками. Как он был «очарователен» с нами и... с Иоанном Кронштадтским[34]! Какие обеды задавал!

Стыдно сказать — нельзя умолчать: прежде во дворцах жили все-таки воспитанные люди. Даже присяжный поверенный Керенский не удержался в пределах такта. А уж о немытом Чернове не стоит и говорить.

Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?

22 августа. Вторник.

Дождь проливной; явился Л[яцкий]. Еще не написал письма Керенскому, хочет вместе с нами.

Стали мы помогать писать (писал Л[яцкий]). Можно бы, конечно, покороче и посильнее, если подольше думать, — но ладно и так. Сказано, что нужно. Все те же настоятельные предложения или «властвовать», или передать фактическую власть «более способным», вроде Савинкова, а самому быть «надпартийным» президентом российской республики (т. е. необходимым «символом»).

Подписались все. Запечатали моей печатью и Л[яцкий] унес письмо. <...> [Он (Ляцкий — *Сост.*) говорил, между прочим, под секретом, что у него была сама эта «Елена», жалуясь, что Керенского «все его настоящие друзья оставили», что он будто бы сам этим обеспокоен][35].

23 августа. Среда.

Вечером Д. В.[36], оставшийся в городе, часов около 12 сидел в столовой (пишу по его точной записи и рассказу). Постучали во входную дверь. Дима решил, что это Савинков, который всегда так приходил. (Дверь от столовой близко, а звонок прислуге очень далеко.)

Подойдя к двери, Дима, однако, сообразил, что Савинков — на фронте, в Ставке, а потому окликнул:

— Кто там?

— Министр.

Голоса Дима не узнает. Открывает дверь на полуосвещенное pallier[37].

Стоит шофер, в буквальном смысле слова: гетры, картуз. Оказывается Керенским.

Кер[енский]. Я к вам на одну минуту...

Дим[а]. Какая досада, что нет Мережковских, они сегодня уехали на дачу.

Кер[енский]. Ничего, я все равно на одну минуту, вы им передадите, что я благодарю их, и вас всех за письмо.

Переходят в гостиную. Керенский шагает во всю длину, Д. В. за ним.

Дим[а]. Письмо написано коротко, без мотивов, но это итог долгих размышлений.

Кер[енский]. А все-таки оно недодумано. Мне трудно, потому что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, а от меня требуют, чтобы я опирался на тех или других. Или у меня армия без штаба, или штаб без армии. Я хочу идти посередине, а мне не помогают.

Дим[а]. Но выбрать надо. Или вы берите на себя перед «товарищами» позор обороны, и тогда гоните в шею Чернова, или заключайте мир. Я вот эти дни все думаю, что мир придется заключить...

Кер[енский]. Что вы говорите?

Дим[а]. Да как же иначе, когда войну мы вести не можем и не хотим. Когда ведешь войну, нечего разбирать, кто помогает, а вы боитесь большевиков справа.

Кер[енский]. Да, потому что они идут на разрыв с демократией. Я этого не хочу.

Дим[а]. Нужны уступки. Жертвуйте большевиками слева, хотя бы Черновым.

Кер[енский] (со злобой). А вы поговорите с вашими друзьями. Это они посадили мне Чернова...

...Ну что я могу сделать, когда... Чернов — мне навязан, а большевики все больше подымают голову. Я говорю, конечно, не о сволочи из «Новой жизни», а о рабочих массах.

Дим[а]. И у них новый прием. Я слышал, что они пользуются рижским разгромом. Говорят: вот, все идет по-нашему, мы требовали, чтобы 18 июня не начинали наступления...

Кер[енский]. Да, да, это и я слышал.

Дим[а]. Так принимайте же меры! Громите их! Помните, что вы всенародный президент республики, что вы над партиями, что вы избранник демократии, а не социалистических партий.

Кер[енский]. Ну, конечно, опора в демократии, да ведь мы ничего социалистического и не делаем. Мы просто ведем демократическую программу.

Дим[а]. Ее не видно. Она никого не удовлетворяет.

Кер[енский]. Так что же делать с такими типами, как Чернов?

Дим[а]. Да властвуйте же наконец! Как президент — вы должны составлять подходящее министерство.

Кер[енский]. Властвовать! Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет.

Дим[а]. Не бойтесь. Вы для нее символ свободы и власти.

Кер[енский]. Да, трудно, трудно... — Ну, прощайте. Не забудьте поблагодарить З. Н. и Д. С.

Далее Д. В. прибавляет:

«Ушел так же стремительно, как и пришел. Перемена в лице у него громадная. Впечатление морфиномана, который может понимать, оживляться только после вспрыскивания. Нет даже уверенности, что он слышал, запомнил наш разговор. Я встретил его ласково и вообще "подбодрял"». <...>

Пишу 31 августа (Четв[ерг].)

Дни 28 августа, 29-го и 30-го — ошеломляющие по событиям (т. е. начиная с 26 августа).

Утром я выбежала в столовую: «Что случилось?» Д. В.: «А то, что генерал Корнилов потерял терпение и повел войска на Петербург».

В течение трех дней загадочная картина то прояснялась, то запутывалась. Главное-то было явно через 2–3 часа, т. е. что лопнул нарыв вражды. Керенского к Корнилову (не обратно). Что нападающая сторона Керенский, а не Корнилов. И, наконец, третье: что сейчас перетянет Керенский, а не Корнилов, не ожидавший прямого удара.

Утопая в куче противоречивых фактов, останавливаясь перед явными провалами — неизвестностями, перед явными Х-ами, отмахиваясь от сумасшедшей истерики газет, — я пытаюсь слепить из кусочков действительности образ того, что произошло на самом деле.

И пока намеренно воздерживаюсь от всякой оценки (хотя внутри она уже складывается). Только то, что знаю сейчас.

26-го в субботу, к вечеру, приехал к Керенскому из Ставки Вл. Львов (бывший об[ер-]прокурор Синода). Перед своим отъездом в Москву и затем в Ставку, дней 10 тому назад, он тоже был у Керенского, говорил с ним наедине, разговор неизвестен. Точно так же наедине был и второй разговор с Львовым, уже приехавшим из Ставки. Было назначено вечернее заседание; но когда министры стали собираться в Зимний дворец, из кабинета вылетел Керенский, один, без Львова, потрясая какой-то бумажкой с набросанными рукой Львова строками, и, весь бледный и «вдохновенный», объявил, что «открыт заговор ген. Корнилова», что это тотчас будет

проверено, и ген. Корнилов немедленно будет смещен с должности главнокомандующего как «изменник».

Можно себе представить, во что обратились фигуры министров, ничего не понимавших. Первым нашелся услужливый Некрасов, «поверивший» на слово г-ну премьеру и тотчас захлопотавший. Но, кажется, ничего еще не мог понять Савинков, тем более, что он лишь в этот день сам вернулся из Ставки, от Корнилова. Савинкова взял Керенский к прямому проводу, соединились с Корниловым: Керенский, заявив, что рядом с ним стоит В. Львов (хотя ни малейшего Львова не было), запросил Корнилова: «подтверждает ли он то, что говорит от него приехавший и стоящий перед проводом Львов». Когда выползла лента с совершенно покойным «да» — Керенский бросил все, отскочил назад, к министрам, уже в полной истерике, с криками об «измене», о «мятеже», о том, что немедленно он смещает Корнилова и дает приказ о его аресте в Ставке.

Тут я подробностей еще не знаю, знаю только, что Керенский приказал Савинкову продолжать разговор с Корниловым и, на вопрос Корнилова, когда Керенский с членами Пр-ва прибудет, как условленно, в Ставку — отвечал: «Приеду 27-го». Приказал так ответить — уже посреди всей этой бучи, уже крича и думая об аресте Корнилова, а не о поездке к нему. Объяснил, что это «необходимая уловка», чтобы пока — Корнилов ничего не подозревал, не знал, что все открыто (???). Карташев присутствовал при разговоре этом, стоял у провода.

Опять не знаю никаких дальнейших точных подробностей сумасшедше-истерического вечера. Знаю, что к Керенскому даже Милюкова привозили, но и тот отступился, не будучи в состоянии ни толку добиться, ни каким бы то ни было способом уяснить себе в чем дело, ни задержать поток действий Керенского хотя на одну минуту[38]. Кажется, все сплошь хватали Керенского за фалды, чтобы иметь минуту для соображения, — напрасно! Он визжал свое, не слушая, и, вероятно, даже физически не слыша никаких слов, к нему обращенных.

По отрывочным выкрикам Керенского и по отрывочным строкам невидимого Львова (арестован), набросанным тут же, во время свидания, — выходило как будто так, что Корнилов как будто послал Львова к Керенскому чуть ли не с ультиматумом, с требованием какой-то диктатуры, или директории, или чего-то вроде этого. Кроме этих, крайне сбивчивых, передач Керенского, министры не имели никаких данных и никаких ниоткуда сведений; Корнилов только подтвердил «то, что говорит Львов», а «что говорит Львов» — никто не слышал, ибо никто Львова так и не видал.

До утра воскресенья это не выходило из стен дворца; на другой день министры (чуть ли там не ночевавшие) вновь приступили к Керенскому, чтобы заставить его путем объясниться, принять разумное решение, но... Керенский в этот день окончательно и уже бесповоротно огорошил их. Он уже послал приказ об отставке Корнилова. Ему велено немедля сложить с себя верховное командование. Это командование принимает на себя сам Керенский. Уже написана (Некрасовым, «не видевшим, но уверовавшим») и разослана телеграмма «всем, всем, всем», объявляющая Корнилова «мятежником, изменником, посягнувшим на верховную власть», и повелевающая никаким его приказам не подчиняться. Наконец, для полного вразумления министров, стоявших с открытыми ртами, для отнятия у них последнего сомнения, что Корнилов мятежник и изменник, и заговорщик, — открыл им Керенский: «с фронта уже двинуто на Петербург несколько мятежных дивизий», они уже идут. Необходимо организовать оборону «Петрограда и революции».

Только что ошеломленные министры хотели и это как-нибудь осмыслить — «верующий» Некрасов вырвался к газетчикам и жадно, со смаком, как первый вестник, объявил им все, вплоть до всероссийского текста о гнусном «мятеже» и об опасности, грозящей «революции» от корниловской дивизии.

И «революционный Петроград» с этой минуты забыл об отдыхе: единственный раз, когда газеты вышли в понедельник. Вообще — легко представить, что началось. «Правительственные войска» (тут ведь не немцы, бояться нечего) весело бросились разбирать железные дороги, «подступы к Петрограду», красная гвардия бодро завооружалась, кронштадтцы («краса и гордость русской революции») прибыли немедля для охраны Зимнего дворца и самого Керенского — (с крейсера «Аврора»).

Корнилов, получив нежданно и негаданно, — как снег на голову, — свою отставку, да еще всенародное объявление его мятежником, да еще указания, что он «послал Львова к Керенскому» — должен был в первую минуту подумать, что кто-то сошел с ума. В следующую минуту он возмутился. Две его телеграммы представляют собою первое настоящее сильное слово, сказанное со времени революции. Он там называет вещи своими именами... «телеграмма министра-председателя является во всей свой первой части сплошной ложью. Не я послал В. Львова к Вр[еменному] пр[авительст]ву, а он приехал ко мне как посланец мин[ист]ра[–]пред[седателя]»... «так совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу отечества...»[39].

Не ставит. Решает. Уже решила. Я поклялась воздерживаться от выводов... Ибо не все еще знаю. Но это я знаю, ведь уже с первого момента всем видно было, что НЕТ НИКАКОГО КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА. Я фактически не знаю, что говорил Львов, и вообще не знаю (кто знает?) этот инцидент, но абсолютно не верю ни в какие «ультиматумы». Дурацкий вздор, чтоб Корнилов ни с того, ни с сего, послал их с Львовым! А что касается «мятежных дивизий», идущих на Петроград, то не нужно быть ни особенным психологом, ни политиком, а довольно иметь здравое соображение, чтобы, зная детально все предыдущее со всеми действующими лицами, — догадаться: эти дивизии, по всем признакам, шли в Петербург с ведома Керенского, быть может, даже по его условию с Корниловым через Савинкова (который только что ездил в Ставку) ибо: 1) на очереди были меры корниловской записки, ее Керенский всякий день намеревался утвердить, а это предполагало посылку войск с фронта, 2) бесспорно ожидался в Петербурге — самим Керенским — большевистский бунт, ожидался ежедневно, и это само собой разумело войска с фронта.

Я почти убеждена, что знаменитые дивизии шли в Петербург для Керенского, — с его полного ведома или по его форменному распоряжению.

Поведение же его столь сумасшедше-фатально, что... это уже почти не вина, это какой-то Рок.

«Керенский в эти минуты был жалок...», — говорит Карташев.

Но не менее, если не более, жалки были и окружающие этого опасно-обезумевшего человека. Ничего разумно не понимающие (да и можно ли понять?), чующие, что перед ними совершается непоправимое — и бессильные что-нибудь сделать.

Действительно, с того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об «измене» главнокомандующего — все стало непоправимым. Возмущенный Корнилов послал свои воззвания с отказом «сдать должность». Лихорадочно и весело «революционный гарнизон» стал готовиться к бою с «мятежными» дружинами, которые повел Корнилов на Петроград. <...>

«Кровопролития» не вышло. Под Лугой, и еще где-то, посланные Корниловым дивизии и «петроградцы» встретились. Недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были «корниловцы». Идут «защищать Временное правительство» и встречаются с «врагом», который идет «защищать Временное правительство» тоже, — и то же. Ну, постояли, подумали; ничего не поняли; только, помня уроки агитаторов на фронте, что «с врагом надо брататься», принялись и тут жадно брататься.

Однако торжественный клич дня: «полная победа петроградского гарнизона над корниловскими войсками».

Да, произошло громадной важности событие; но все целиком оно произошло здесь, в Петербурге. Здесь громыхнулся камень, сброшенный рукой безумца, отсюда пойдут и круги. Там, со стороны Корнилова, просто НЕ БЫЛО НИЧЕГО. <...>

Наш Борис (пишу внешние факты) был назначен петерб[ургским] ген[ерал-]губернатором. Пробыл три дня. Сегодня уже ушел от всех должностей. Предполагаю, что его не пожелала всесильная теперь советская «демократия». Такая удача привалила — «корниловщина»! — да чтоб тут сразу и ненавистного Савинкова не сбросить?

Но и Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал. Они уже не «поднимают голову», они сидят. Завтра, конечно, подымутся и на ноги.

Во весь рост.

1 сентября. Пятница.

Встали. Стоят. Скоро поднимутся и на цыпочки, еще выше станут.

За это время все министры только и делают, что подают в отставку[40]. (Я их понимаю, — ничего-то не понимая!)

Чернов сразу ушел «по политическим обстоятельствам» (?)[41]. Остальные перемещались, уходили, приходили, то скопом, то в одиночку... Керенский между тем не уставая громил «изменника» на всю Россию, отрешал, предавал суду и т. д. Назначил Алексеева под себя[42], а сам сделался главнокомандующим. Почему мне вспоминается Николай II? Не похоже — и странно-соединено, в каком-то таинственном аккорде (как их два лица, когда-то, рядом — в моем зеркале). И еще Последние акты всех трагедий почти всегда похожи, сходствуют — при разности. Последние акты.

Керенский стал снова тяпать «коалицию» (судя по газетам; подтверждений не имею, но очевидно так). Совсем было стяпал с тремя кадетами, затем Барышниковым[43], Коноваловым... Но тут опять явились будто бы «товарищи от ЦК» и прекратили все. В смятении полуназначенные и полуоставшиеся министры потекли из Зимнего дворца. Кого назад покличут? <...>

Ни секунды я не была «на стороне Корнилова», уже потому, что этой «стороны» вовсе не было. Но и с Керенским — рабом большевиков, я бы тоже не осталась. Последнее — потому, что я уже совершенно не верю в полезность каких-либо действий около него. Зная лишь внешние голые факты — объясняю себе поступок Бориса,

остававшегося у Керенского (лишь через 3 дня удаленного) двояко: может быть, он еще верил в действие, а если верить — то, конечно, оставаться здесь, у истока происшествия, на месте преступления; быть может, также, Борис, учитывая всеобщую силу гипноза «корниловщины», сотворения бывшим-небывшего, увидел себя (если б сразу ушел) в положении «сторонника Корнилова» — против Керенского. То (пусть призрачное) положение — именно то, которое он для себя отвергал. «Если Корнилов захочет один спасать Россию, пойдет против Керенского — это невероятно, но допустим, — я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него без Керенского не верю...» (Это он говорил в начале августа.) И вышло, как по нотам. «Невероятное» (выступление Корнилова) не случилось, но оказалось «допустимым». Как бы случившимся. И Борис не мог как бы остаться с Корниловым.

А то, что он остался с Керенским, уж само собой вышло тоже «как бы».

Теперь или ничего не делать (деятелям), или свергать Керенского. Х. тотчас возражает мне: «Свергать! А кого же на его место? Об этом надо раньше подумать». Да, нет «готового» и «желанного», однако эдак и Николая нельзя было свергать. Да всякий лучше теперь. Если выбор, — с Керенским или без Керенского валиться в яму (если уж «поздно»), то, пожалуй, все-таки лучше без Керенского.

Керенский — самодержец-безумец и теперь раб большевиков.

Большевики же все, без единого исключения, разделяются на:

1) тупых фанатиков;
2) дураков природных, невежд и хамов;
3) мерзавцев определенных и агентов Германии.

Николай II — самодержец-упрямец...

Оба положения имеют один конец — крах.

7 сентября. Среда.

Данный момент: устроить правительство Керенского так и не позволили, — Советы, окончательно обольшевичевшиеся, Черновцы и всякие максималисты, зовущие себя почему-то «революционной демократией». Назначили на 12-е число свое великое совещание, а пока у нас «совет пяти», т. е. Керенского с четырьмя ничтожествами. Некоторые бывшие министры не вовсе ушли, — остались «старшими дворниками», т. е. управляющими министерствами «без входа» к Керенскому (!). Только Чернов ушел плотно, чтобы немедля начать кампанию против того же Керенского. Он хочет

одного: сам быть премьером. Ну, в «социалистическом министерстве», конечно: в коалиции с... большевиками. После съедения Керенского.

Я сказала, что теперь «всякий будет лучше Керенского». Да, «всякий» лучше для борьбы с контрреволюцией, т. е. с большевиками. Чернов — объект борьбы: он сам — контрреволюция, как бы сам большевик.

«Краса и гордость» непрерывно орет, что она «спасла» Вр[еменное] пр[авительст]во, чтобы этого не забывали и по гроб жизни были ей благодарны. Кто, собственно, благодарен — неизвестно, ибо никакого прежнего Пр[авительст]ва уже и нет, один Керенский. А Керенского эта «краса», отнюдь не скрываясь, хочет съесть. <...>

Борис рассказывает: только в ночь на субботу, 26-е, он вернулся из Ставки от Корнилова. Львова там видел, мельком. Весь день пятницы провел в «торговле» с Корниловым из-за границ военного положения. Керенский поручил Савинкову выторговать Петроградский «округ», и Савинков, с картой в руках, выключал этот «округ», сам, говорит, понимая, что делаю идиотскую и почти невозможную вещь. Но так желал Керенский, обещая, что «если, мол, эта уступка будет сделана»... С величайшими трудами Савинкову удалось добиться такого выключения. С этим он и вернулся от совершенно спокойного Корнилова, который уже имел обещание Керенского приехать в Ставку 27-го. Все по расчету, что «записка» (в которую, кроме вышесказанного ограничения, были внесены некоторые и другие уступки по настоянию Керенского) будет принята и подписана 26-го. Ко времени ее объявления — 27–28 — подойдут и надежные дивизии с фронта, чтобы предупредить беспорядки. (3–5 июля, во время первого большевистского выступления, Керенский рвал и метал, что войска не подошли вовремя, а лишь к 6-му.)

Весь этот план был не только известен Керенскому, но при нем и с ним созидался.

Только одна деталь, относительно корниловских войск, о которой Борис сказал:

— Это для меня не ясно. Когда мы уславливались точно о посылке войск, я ему указал, чтобы он не посылал, во-первых, своей «дикой» дивизии (текинцев) и, во-вторых, — Крымова. Однако он их послал. Я не понимаю, зачем он это сделал...

Но возвращаюсь к подробностям дня субботы. Утром Борис тотчас сделал обстоятельный доклад Керенскому. Ничего определенного в ответ не получил, ушел. Через несколько часов вернулся, опять с тем же — и опять тот же результат. Тогда Борис настоятельно по-

просил позволения сказать г. министру несколько слов наедине. Все вышли из кабинета. И в третий раз Савинков представил весь свой доклад, присовокупив: «дело очень серьезно»...

На это Керенский бросил бумаги в стол, сказав, что «хорошо, он решит дело в вечернем заседании Вр[еменного] правительства».

Но ранее этого заседания, за час, приехал Львов... и воспоследовало то, что воспоследовало.

Истерика, в эти часы, Керенского трудно описуема. Все рассказы очевидцев сходятся.

Не один Милюков был туда привезен: самые разнообразные люди все время пытались привести Керенского в разум хоть на одну секунду, надеясь разъяснить «чертово недоразумение», — тщетно; Керенский уже ничего не слышал. Уже было сделано, сказано, непоправимое.

Однако голым безумием да истерикой не объяснишь действий Керенского. Заведомой злой хитростью, расчетливо и обманно схватившейся за возможность сразу свалить врага, — тоже. Керенский — не так хитер и ловок, недальновиден. Внезапным, больным страхом, помутняющим зрение, одним страхом за себя и свое положение, — опять невозможно объяснить всего. Я решаю, что тут была сложность всех трех импульсов: и безумия, и расчетливого обмана, и страха. Сплелись в один роковой узор, и были покрыты тем «керенским вдохновением», когда человек этот собою уже не владеет и себя не чувствует, а владеет им целостно дух... какой подвернется, темный или светлый. Нет, темный, ибо на комбинацию истерики, лжи и страха светлый не посмотрит. И дух темный давно уже ходит по пятам этого потерянного «вождя».

Я все отвлекаюсь. Я ведь еще не подчеркнула, что до сих пор то, из-за чего как будто запылал сыр-бор, совершенно не выяснено. Какой «ультиматум» привез от Корнилова Львов? Где этот ультиматум? И что это, наконец, — «диктатура?» Чья, Корнилова? Или это «директория»? Где доказательство, что Корнилов послал Львова к Керенскому, а не Керенский его — к Корнилову?

Где, наконец, сам Львов?

Это, — одно, известно: Львов, арестованный Керенским, так с тех пор и сидит. Так с тех пор никто его и не видел, и никому он ничего не говорил, ничего не объяснил. Потрясающе!

Я спрашивала Карташева: но ведь перед своим отъездом в Ставку Львов был у Керенского? Разговор их неизвестен. Но почему хоть теперь не спросить у Керенского, в чем он заключался?

Карташев, оказывается, спрашивал.

— Керенский уверяет, что тогда Львов бормотал что-то невразумительное, и понять было нельзя.

Керенский «уверяет». А теперь уверяет, что вернувшийся Львов так вразумительно сказал о «мятеже», что сразу все сделалось бесповоротно ясно, и в ту же минуту надлежало оповестить Россию: «Всем, всем, всем! Русская армия под командованием изменника»!

Нет, моя голова может от многого отказаться, но не от здравого смысла. И перед этим последним требованием я пасую, отступаю, немею.

Не понимаю. И только боюсь... будущего.

Ведь уже через два часа после объявления «корниловского мятежа» Петербург представлял определенную картину. Победители сразу и полностью использовали положение.

Что касается Савинкова, то я с приблизительной точностью угадала, почему не мог он не остаться с Керенским, на своем месте. Не было двух сторон, не было «корниловской» стороны. Если б Савинков ушел от Керенского — он ушел бы «никуда»; но этому никто не поверил бы: его уход был бы только лишним доказательством бытия корниловского заговора. (Так же, как если б Корнилов — убежал.)

На своем новом посту генерал-губернатора Савинков сделал все, что мог, чтобы предотвратить хоть возможность недоразуменной бойни между идущими фронтовыми войсками и нелепо рвущимся куда-то гарнизоном (подстегивали большевики).

Через три дня Керенский по телефону, без объяснений причин, сообщил Савинкову, что он «увольняется от всех должностей».

Не соблюдены были примитивные правила приличия. Не до того. Да ведь все равно не скроешь больше, кто настоящая теперь власть, над нами и... над Керенским.

Последнее свидание «г. министра» с прогнанным «помощником» — кратко и дико. Керенский его целовал, истеричничал, уверял, что «вполне ему доверяет...», но Савинков сдержанно ответил на это, что «он-то ему больше уже ни в чем не доверяет».

10 сентября. Воскресенье.

Все дальнейшее развивается нормально. Травля Керенского Черновым началась[44]. И прямо, и перекидным огнем. Вчера были прямые шлепки грязи. («Керенский подозрителен» и т. п.), а сегодня — «Керенский — жертва» в руках Савинкова, Филоненко и Корнилова, «гнусных мятежников и контрреволюционеров»,

пытавшихся уничтожить демократию» и превратить «страну в казарму». Эти «гнусные черносотенные замыслы», интриги, подготовление восстания и мятежа велись за «спиною Керенского», говорит Чернов (сегодня, а завтра в «Деле» Чернова[45] опять пойдет непосредственная еда и Керенского).

Ах, дорогие товарищи, вы ничего не знали? Ни о записке, ни о колебаниях Керенского, ни о его полусогласиях, — вы не знали? Какое жалкое вранье! Не выбирают средств для своих целей.

Президиум Совета раб[очих] и солд[атских] (депутатов — *Сост.*) (Чхеидзе, Скобелев, Церетели и др.) на днях после принятия большевистской резолюции ушел. Вчера был поставлен на переизбрание и — провалился. Победители, — Троцкий, Каменев[46], Луначарский[47], Нахамкес, — захлебываются от торжества. Дело их выгорает. «Перевернулась страница»... да, конечно.

Керенский давно уехал в Ставку, и там застрял. Не то он переживает события, не то подготовляет переезд Пр[авительст]ва в Москву. Зачем? Военные дела наши хуже нельзя (вчера — обход Двинска), однако теперь и военные дела зависят от здешних (которые в состоянии, кажется, безнадежном). Немцы, если придут, то в зависимости от здешнего положения. И все же не раньше весны. Слухам о мире даже «на наш счет» — мало верится, хотя они растут.

Я делаю ошибку, увлекаясь подробностями происходящего, так как всего, что мы видим и слышим, всего, что делается, меняясь каждый час, — записать я не имею просто физической возможности. Будем же сухи и кратки.

Два слова о Крымове (которого Борис, уславливаясь с Корн[иловым] о присылке войск, просил не посылать, и который почему-то был все-таки послан).

Когда эти защитные войска были объявлены «мятежными» и затем «сдавшимися», Крымов явился к Керенскому. Выйдя от Керенского — он застрелился... «Умираю от великой любви к родине...» Беседа их с Керенским неизвестна (опять «неизвестна»! Как разговор с Львовым).

Этот Крымов участвовал в очень серьезном военно-фронтовом заговоре против Николая II перед революцией. Заговору помешала только разразившаяся революция.

А насчет Львова, который так и сидит, так и невидим, так и остается загадочнейшим из сфинксов, — пустили версию, что он «клинически помешан». Я думаю, это сами г[оспо]да министры, которые продолжают ничего не понимать — и не могут так продолжать ничего не понимать. Не могут верить, что Корнилов

послал Львова к Керенскому с ультиматумом (разум не позволяет); и не смеют поверить, что он никакого ультиматума не привозил — (честь не позволяет), ведь если поверили, что не привозил, — то как же они кроют обман или галлюцинацию Керенского, ездят в Зимний дворец, не уходят и не орут во все горло о том, что произошло?

А такой выход, что «Львов — помешанный», что-то наболтал, на что-то, случайно, натолкнул, Керенский вскипел и поторопился, конечно, но... и т. д. — такой выход несколько устраивает положение, хотя бы временно... А ведь и Правительство-то «временное...»

Я это отлично понимаю. Многие разумные люди, истомленные атмосферой нелепого безрассудства, с облегчением схватились за этот лже-выход. Ибо — что меняется, если Львов сумасшедший? Тем страшнее и Стыднее: от случайного бреда помешанного перевернулась страница русской истории. И перевернул ее поверивший сумасшедшему. Жалкая была бы картина!

Но и она — попытка к самоутешению. Ибо я твердо уверена (да и каждый трезвый и честный перед собой человек), что:

1) нисколько Львов не сумасшедший;
2) никаких он ультиматумов не привозил.

Поздно веч. 10-го же.

<...> Часа в 4 сегодня был Карташев, — только что подал в отставку. Опять! Если опять с тем же результатом... Ведь уж сколько их подавали!..

Мотивировал, что «при засилии крайних социалистических элементов...» и т. д.

Терещенко уговаривал: ах, подождите, приедет Керенский — мы вместе подадим, будет демонстрация. Этот никогда даже и не подаст. <...>

18 сент[ября]. Понедельник.

«...Демократическое совещание» в Александринке началось 14-го. Длится. Жалко. Сегодня оно какое-то параличное. Керенский тоже в параличе. Правительства нет. Дем[ократическое] сов[ещание] хочет еще родить какой-то «предпарламент». Чем все кончится — можно предугадать, но... смертельная лень предугадывать.

20 сентября. Среда.

<...> Демокр[атическое] сов[ещание] позорно провалилось. Сначала незначительным большинством (вчера вечером) высказалось «за коалицию». Потом идиотски стало голосовать — «с к. д.» или «без». И решило — «без». После этого внезапно громадным большинством все отменило. И, наконец, решило не разъезжаться «пока чего-нибудь не решит».

Сидит... в количестве 1700 человек, абсолютно глупо и зверски.

И Керенский сидит... ждет. Правительства нет. <...>

Позднее, 20-го же.

<...> Гораздо позднее, около 1 часу, телефонировал Борис. На собрании «Воли народа», где он только что был, получилось странное сообщение: что будто президиум Дем[ократического] совещания голосовал «коалицию» и большинством 28 голосов (59 и 31) высказался против, после чего будто бы Керенский «сложил полномочия». Удивляюсь, не разбираюсь, спрашиваю:

— Что же теперь будет?

— Да ничего... будет Авксентьев[48].

(Борис мог бы ответить мне совершенно так, как, в 16-м году, кажется, или раньше, ответил мне на подобный же вопрос Керенский, после роспуска Думы: «Будет то, что начинается с а... И, конечно, сегодня А большое (Авксентьев) гораздо менее вероятно, нежели о маленькое... Будет не А...вксентьев, но а...нархия, все равно, "сложил" уже Керенский с себя какие-то "полномочия", или еще нет. Да и весть-то чепушистая».

Вероятно, это в связи с дневным происшествием: Керенский прислал в президиум извещение: — намерен сформировать кабинет и завтра его объявить.

На это было отвечено строго и внушительно, чтобы и думать не сметь. Ни-ни. Ни в каком случае.

21 сентября. Четверг.

<...> Никаких «полномочий» Керенский и не думал «складывать». Изобретают теперь «предпарламент» и чтобы Пр[авительст]во (будущее) перед ним отвечало. Занятия для предпарламента готово одно (других не намечается): свергать правительства. Керенский согласен.

Большевики, напротив, ни с чем не согласны. Ушли из заседания[49].

Предрекают скорую резню. И серьезную. Конечно! Очень серьезную. <...>

30 сентября. Суббота.

<...> Сохранившие остаток разума и зрения видят, как все это кончится.

Все — вплоть до «Дня» — грезят о штыке («да будет он благословен»), но — поздно! поздно! Говорится: «пуля — дура, штык — молодец»; и вот, опоздали мы со штыком, дождемся мы «пули-дуры».

Керенский продолжает падение, а большевики уже бесповоротно овладели Советами. Троцкий — председатель[50].

Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге — еще не определено. Будет.

8 октября. Воскресенье. Кр[асная] дача.

Нужно иметь недюжинные силы, чтобы не пасть духом. Я почти пала. Почти...

Керенский настоял, чтобы Пр[авительст]во уезжало в Москву[51]. И с «Предпарламентом», который, под именем «Совета Российской Республики», вчера открылся в Мариинском дворце. (Я и не написала, что у нас объявлено: пусть Россия называется республикой[52]. Ну что ж, «пусть называется». Никого «слово» не утешило, ровно ничего не изменило.) <...>

Внешнее положение — самое угрожающее. Весь Рижский залив взят, с островами. Но вряд ли до весны немцы и при теперешнем положении двинутся на Петербург.

Или, разве, если Керенский отъездом пр[авительст]ва ускорит дело. Отдаст Петербург сначала на бойню большевистскую, а потом и немцам. Уж очень хочется ему улепетнуть от своих августовских «спасителей». Еще выпустят ли? Они уже начали возмущаться.

Будет у нас, наконец, чистая «Петроградская» республика, сама себе голова анархическая.

Когда история преломит перспективы, — быть может, кто-нибудь вновь попробует надеть венец героя на Керенского. Но пусть зачтется и мой голос. Я говорю не лично. И я умею смотреть на близкое издали, не увлекаясь. Керенский был тем, чем был в начале революции. И Керенский сейчас — малодушный и несознательный человек;

а так как фактически он стоит наверху — то в падении России на дно кровавого рва повинен — он. Он. Пусть это помнят.

Жить становится невмоготу.

19 октября. Четверг (давно СПб).

<...> Вот уже две недели, как большевики, отъединившись от всех других партий (их опора — темные стада гарнизона, матросов и всяких отшибленных людей, плюс — анархисты и погромщики просто), — держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели: «вся власть советам» (т. е. большевикам). Назначили самовольно съезд советов, сначала на 20-е, когда и объявили, было, знаменитое выступление, но затем отложили и то, и другое, — на 25 октября[53]. Ленин каждодневно в «Рабочем пути» (б. «Правда»), совершенно открыто, наставляет на этот погром, утверждая его, как дело решенное. Газеты спешат сообщить, что Пр-во «собирается» его арестовать. Вид: Керенский, во всем своем «дохлом» окружении, кричит Ленину:

— Антропка-а-а... Иди сюда-а... Тебя тятька высечь хочи-и-ить!

Оповещенный Антропка и не думает идти, хотя в отличие от Антропки тургеневского, не затихает, голос подает все время, и ни в какую порку не верит. И прав...

Это мы еще сохраняли остатки наивности, веря иной раз оповещенным намерениям «власти». Стоит этой власти что-либо проникать, как знай: именно этого не будет. Просто замнется. С переездом Пр-ва в Москву: уже замялось. Хотя и думаю, что Керенский, попробовав почву и видя, что ни откуда не одобрен, решил пришипиться и удрать молчком, — ищи ветра в поле! притом ищи пешком, ибо всякое пассажирское движение проектируется приостановить. Или это тоже вранье и дороги просто сами собой остановятся? Ну, Керенский все-таки удерет, в последнюю минуту.

Было у нас много разных «газетных» заседаний, бывали мы у Л[яцкого] и у Бориса, но вот отмечу один недавний вечер, как не лишенный любопытности.

У Глазберга[54] (крупного дельца) на Вас[ильевском] острове по инициативе М[ейера][55], вкупе с теми интеллигентскими кругами (ныне раздробленными остатками, непристроенными или полупристроенными к пр[авительст]ву), что процветали здесь до революции. Ну, и всякого жита по лопате. Цель — посовещаться о «возможности коллективного протеста интеллигенции против большевиков». <...>

За ужином вышел чуть не скандал. Дмитрий стал очень открыто и верно (совсем не грубо) говорить о Керенском. Князь Андроников[56] почти разрыдался и вышел из за стола: «Не могу, не могу слышать этого о светлом человеке!»

Ну, все в подобном роде. Великолепный, по нынешним временам, ужин. Фрукты, баранки, белое вино. Глазберг — хозяин. Результат — никчемный.

Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить дачу. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул, — а они меряют вышину окон, да сколько бы ступенек хорошо на крыльце сделать. Да и то не торопятся. Можно и так погодить. Еще посмотрим.

Но ни дыма, ни камней — определенно не видят. Точно их нет.

Дело Корнилова неудержимо высветляется. Медленно, постепенно обнажается эта история от последних клочков здравого смысла. Когда я рисовала картину вероятную, в первые часы, — затем в первые недели, — картина, в общем, оказывалась верна, только провалы, иксы, неизвестные места мы невольно заполняли, со смягчением в сторону хоть какого-нибудь смысла. Но по мере физического высветления темных мест — с изумлением убеждаешься, что тут, кроме лжи, фальши, безумия, — еще отсутствие здравого смысла в той высокой степени... на которую сразу не вскочишь.

Львов, только что выпущенный, много раз допрашиваемый, нисколько не оказавшийся «помешанным» (еще бы, он просто глупый), говорит и печатает потрясающие вещи. Которых никто не слышит, ибо дело сделано, «корниловщина» припечатана плотно; и в интересах не только «победителей», но и Керенского с его окружением, — эту печать удержать, к сделанному (удачно) не возвращаться, не ворошить. И всякое внимание к этому темному пятну усиленно отвлекается, оттягивается. Козырь, попавший к ним, большевики — (да и черновцы, и далее) — из рук не выпустят, не дураки! А кто желал бы тут света, те бессильны; вертятся щепками в общем потоке. Но здесь я запишу протокольно то, что уже высветилось.

Львов ездил в Ставку по поручению Керенского. Керенский дал ему категорическое поручение представить от Ставки и от общественных организаций их мнения о реконструкции власти в смысле ее усиления. (Это собственные слова Львова, а далее цитирую уже прямо по его показаниям.)

«Никакого ультиматума я ни от кого не привозил и не мог привезти, потому что ни от кого таких полномочий не получал». С Корниловым «у нас была простая беседа, во время которой обсуж-

дались различные пожелания. Эти пожелания я, приехав, и высказал Керенскому». Повторяю, «никакого ультимативного требования я не предъявлял и не мог предъявить, Корнилов его не предъявлял, и я этого от его имени не высказывал, и я не понимаю, кому такое толкование моих слов, и для чего, понадобилось?»

«Говорил я с Керенским в течение часа; внезапно Керенский потребовал, чтобы я набросал свои слова на бумаге. Выхватывая отдельные мысли, я набросал их, и мне Керенский не дал даже прочесть, вырвал бумагу и положил в карман. Толкование, приданное написанным словам "Корнилов предлагает" — я считаю подвохом».

«Говорить по прямому проводу с Корниловым от моего имени я Керенского не уполномачивал, но когда Керенский прочел мне ленту в своем кабинете, я уже не мог высказаться даже по этому поводу, т. к. Керенский тут же арестовал меня». «Он поставил меня в унизительное положение; в Зимнем дворце устроены камеры с часовыми; первую ночь я провел в постели с двумя часовыми в головах. В соседней комнате (б. Алекс[андра] III[57]) Керенский пел рулады из опер...»

Что, еще не бред? Под рулады безумца, мешающего спать честному дураку-арестанту, — провалилась Россия в помойную яму всеобщей лжи.

В рассказе, у меня, тогда была одна неточность, не меняющая дела ничуть, но для добросовестности исправлю эту мелочь. Когда Керенский выбежал к приезжающим министрам с бумажкой Львова («не дал прочесть...» «потребовал набросать...» «выхватывая отдельные мысли я набросал...») — в это время Львов еще не был арестован, он уехал из Дворца; Львов приехал тотчас после разговора по прямому проводу, и тогда, без объяснений, Керенский и арестовал его.

Как можно видеть, — высветления темных мест отнюдь не изменяют первую картину (см. запись от 31 августа). Только подчеркивают ее гомерическую и преступную нелепицу. Действительно, чертова провокация!

21 октября. Суббота.

Завтра, 22-го, в воскресенье, назначено грандиозное моленье казачьих частей с крестным ходом. Завтра же «день Советов» (не «выступление», ибо выступление назначено на 25-е, однако «экивочно» обещается и раньше, если будет нужно). Казачий ход, конечно, демонстрация. Ни одна сторона не хочет «начинать». И положение все напряженнее — до невыносимости.

Керенский забеспокоился. Сначала этот ход разрешил. Потом, сегодня, стал метаться, нельзя ли запретить, но так, чтобы не от него шло запрещение. Погнал Карташева к митрополиту. Тот покорно поехал, ничего не выгорело. <...>

Далее оказывается: Керенский телефонограммой отменил-таки завтрашнее моленье. Казаки подчинились, но с глухим ропотом. (Они ненавидят Керенского.) <...>

24 октября. Вторник.

<...> Сегодня несчастный Керенский выступал в Предпарламенте с речью, где говорил, что все попытки и средства уладить конфликт исчерпаны (а до сих пор все уговаривал!) и что он просит у Совета санкции для решительных мер и вообще поддержки Пр[авительст]ва. Нашел у кого просить и когда!

Имел очередные рукоплескания, а затем... началась тягучая, преступная болтовня до вечера, все «вырабатывали» разные резолюции; кончилось, как всегда, полуничем, левая часть (не большевики, большевики давно ушли, а вот эти полубольшевики) — пятью голосами победила, и резолюция такая, что Предпарламент поддерживает Пр[авительст]во при условиях: земля — земельным комитетам, активная политика мира и создание какого-то «комитета спасения».

Противно выписывать все это бесполезное и праздное идиотство, ибо в то же самое время: Выборгская сторона отложилась, в Петропавл[овской] крепости весь гарнизон «за Советы», мосты разведены. Люди, которых мы видели:

Х. — в панике и не сомневается в господстве большевиков.

П. М. Макаров — в панике, не сомневается в том же; прибавляет, что довольно 5-ти дней этого господства, чтобы все было погублено; называет Керенского предателем и думает, что министрам не следует ночевать сегодня дома.

Карташев — в активной панике, все погибло, проклинает Керенского.

Гальперн[58] говорит, что все Пр[авительст]во в панике, однако идет болтовня, положение неопределенное.

Борис — ничего не говорит. Звонил мне сегодня об отмене сегодняшнего собрания (еще бы!) П[ав]лу М[ихайлови]чу[59] велел сказать, что домой вернется «очень» поздно (т. е. не вернется).

Все как будто в одинаковой панике, и ни у кого нет активности самопроявления, даже у большевиков. На улице тишь и темь. Электричество неопределенно гаснет, и тогда надо сидеть особенно инертно, ибо ни свечей, ни керосина нет.

Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место — Вр[еменное] правительство. Казаки будто бы предложили поддержку под условием освобождения Корнилова. Но это глупо: Керенский уже не имеет власти ничего сделать, даже если б обещал. Если б! А он и слышать ничего не слышит. <...>

Сейчас большевики захватили «ПТА» (Пет[троградское] Телегр[афное] Агентство) и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба.

Словом, готовится «социальный переворот», самый темный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час.

Ведь шло все, как по писанному. Предпоследний акт начался с визга Керенского 26–27 августа; я нахожу, что акт еще затянулся — два месяца! Зато мы без антракта вступаем в последний. Жизнь очень затягивает свои трагедии. Еще неизвестно, когда мы доберемся до эпилога.

Сейчас скучно уже потому, что слишком все видно было заранее.

Скучно и противно до того, что даже страха нет. И нет — нигде — элемента борьбы. Разве лишь у тех горит «вдохновение», кто работает на Германию.

Возмущаться ими — не стоит. Одураченной темнотой нельзя. Защищать Керенского — нет охоты. Бороться с ордой за свою жизнь — бесполезно. В эту секунду нет стана, в котором надо быть. И я определенно вне этой унизительной... борьбы? Это пока что не революция и не контрреволюция, это просто — блевотина войны. <...>

25 октября. Среда.

Пишу днем, т. е. серыми сумерками. — Одна подушка уже навалилась на другую: город в руках большевиков.

Ночью, по дороге из Зимнего дворца, арестовали Карташева и Гальперна. 4 часа держали в Павловских казармах, потом выпустили, несколько измывшись.

Продолжаю при электричестве.

Я выходила с Дмитрием. Шли в аспидных сумерках по Сергиевской. Мзглять, тишь, безмолвие, безлюдие, серая кислая подушка. <...>

Последние вести таковы: Керенский вовсе не «бежал», а рано утром уехал в Лугу, надеясь оттуда привести помощь, но...

Электричество погасло. Теперь 7 ч. 40 минут вечера. Продолжаю с огарком...

Итак: но если даже лужский гарнизон пойдет (если!), то пешком, ибо эти живо разберут пути. На Гороховой уже разобрали мостовую, разборщики храбрые. <...>

В 10 ч. вечера. (Электричество только что зажглось.)

Была сильная стрельба из тяжелых орудий, слышная здесь. Звонят, что будто бы крейсера, пришедшие из Кронштадта (между ними и «Аврора», команду которой Керенский взял для своей охраны в корниловские дни), обстреливали Зимний дворец. Дворец будто бы уже взят. Арестовано ли сидевшее там Пр[авительст]во — в точности пока неизвестно. <...>

Позднее. Опровергается весть о взятии б[ольшевика]ми Зимнего дворца. Сраженье длится. С балкона видны сверкающие на небе вспышки, как частые молнии. Слышны глухие удары. Кажется, стреляют и из дворца, по Неве и по Авроре. Не сдаются. Но — они почти голые: там лишь юнкера, ударный батальон и женский батальон. Больше никого.

Керенский уехал раным-рано, на частном автомобиле. Улизнул-таки! А эти сидят, неповинные ни в чем, кроме своей пешечности и покорства, под тяжелым обстрелом.

Если еще живы.

26 октября. Четверг.

<...> Непрерывные слухи об идущих сюда войсках и т. д. — очень похожи на легенду, необходимую притихшим жителям завоеванного города. Я боюсь, что ни один полк уже не откликнется на зов Керенского — поздно.

Сейчас легенда сформировалась в целое сражение где-то или на станции Дно (блаженной, милой памяти Марта!), или в Вырицах.

27 октября. Пятница.

<...> Уже не слухи, — или тоже слухи, но упорные, — что Керенский, с какими-то фронтовыми войсками, в Гатчине. И Лужский гарнизон сдался без боя. От Гатчины к СПб. наши «победители» уж разобрали путь, готовятся. <...>

28 октября. Суббота.

<...> С утра слухи о сражении за Московской Заставой: оказалось вздор. Днем будто аэроплан над городом разбрасывал листки Керенского (не видала ни листков, ничего). Последнее и подтверждающееся: прав, войска и казаки уже были в Царском, где гарнизон, как лужский и гатчинский, или сдавался, или, обезоруженный, побрел кучами в СПб. Почему же они были в Царском, — а теперь в Гатчине, на 20 верст дальше?

Командует, говорят, казачий генерал Краснов, и слух: исполняет приказы только Каледина (и Каледин-то за тысячу верст!), а Керенский, который с ними, — у них будто бы «на веревочке». По выражению казака-солдата: «Если что не по-нашему, так мы ему и голову свернем». <...>

29 октября. Воскресенье.

Узел туже, туже... Около 6 часов прекратились телефоны, — станция все время переходила то к юнкерам, то к большевикам, и наконец все спуталось. На улицах толпы, стрельба. Павловское юнкерское училище расстреляно, Владимирское горит; слышно, что юнкера с этим глупым полковником Полковниковым заседали в Инженерном замке. О войсках Керенского слухов много, — сообщений не добыть. Из дому выходить больше нельзя. <...>

30 октября. Понедельник. 7 час. веч[ечера].

Положение неопределенное, т. е. очень плохое. Почти ни у кого нет сил выносить напряжение, и оно спадает, ничем не разрешившись.

ВОЙСКА КЕРЕНСКОГО НЕ ПРИШЛИ (и не придут, это уж ясно). Не то — говорят — в них раскол, не то их мало. Похоже, что и то, и другое. <...>

31 октября. Вторник.

<...> Поздно вечером кое-что узнали, и очень правдоподобное.

Дело не в том, что у Керенского «мало сил». Он мог бы иметь достаточно, прийти и кончить все здешнее 3 дня тому назад; но... (нет слов для этого, и лучше я никак и не буду говорить) — он опять колеблется! Отсюда вижу, как он то падает в прострации

на диван (найдет диван!), то вытягивает шею к разнообразным «согласителям», предлагающим ему всякие «демократические» меры «во избежание крови». И в то время, когда здесь уже льется кровь детей-юнкеров, женщин, а в сырых казематах сидят люди пожилые, честные, ценные, виноватые лишь в том, что поверили Керенскому, взяли на себя каторжный и унизительный (при нем) правительственный труд! Сидят под ежеминутной угрозой самосуда пьяных матросов, — озверение растет по часам.

А Керенский — не все договорил еще! Его еще зудит выехать в автомобиле к «своему народу», к знаменитому «петроградскому гарнизону» — и поуговаривать. УЖ БЫЛО. Оказывается — выезжал. И не раз. Гарнизон не уговорился нисколько. Но он и не сражается. Постоит — и назад с позиций, спать. Сражается сброд и красная армия, мальчишки-рабочие с винтовками.

Казаки озлоблены до последней степени. Еще бы! Каково им там, в этом, поистине дурацком, положении? И Борису, если он там тоже сидит с ними. Каждое столкновение казаков с «красными», — (столкновений все же предотвратить нельзя, — Керенский верно, смахивает слезу пальцем перчатки) — кончается для красных плохо.

Керенский имеет сношение со здешними соглашателями-Черновцами? Они же (как я верно писала) выбиваются из сил, желая воспользоваться для себя делом большевиков, которые исполнили грязную работу захватчиков и убийц. <...>

И вот, наконец, последнее известие, естественно вытекающее из предыдущих: три дня перемирия между войсками Керенского и большевиками. Во всех случаях это великолепно для большевиков.

1 ноября. Среда.

<...> ...Царское было раньше оставлено; туда, после оставления Гатчины, явились, свободно и смело, большевики. Распубликовали, что «Царское взято». Застрелили спокойно коменданта (не огорчайтесь, А. Ф., это не «демократическая» кровь), стали сплошь врываться в квартиры. <...>

Вот картина. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь, по каким угодно рассказам и записям, мог понять и представить себе нашу здесь атмосферу. В ней надо жить самому. <...>

Самое последнее известие: Керенский и не в Гатчине, а совершенно неизвестно где. Слух, что к нему собрался, было, ехать Луначарский (это еще что?), но Керенского нет.

2 ноября. Четверг.

<...> Сегодня почти все, записанное вчера, подтверждается. В чисто-большевистских газетах трактуется с подробностями «бегство» Керенского. Будто бы в Гатчине его предали изменившие казаки и он убежал на извозчике, переодевшись матросом. И даже, наконец, что в Пскове, окруженный враждебными солдатами, он застрелился.

Из этого верно только одно, конечно: что Керенский куда-то скрылся, его при «его» войсках нет, и никаких уже «его войск» — нет. <...>

Пока формулирую кратчайшим образом происходящее так: Николай II начал, либералы-политики продолжили — поддержали, Керенский закончил.

Я не переменилась к Керенскому. Я всегда буду утверждать, как праведную, его позицию во время войны, во время революции — до июля. Там были ошибки, человеческие; но в марте он буквально спас Россию от немедленного безумного взрыва. После конца июня (благодаря накоплению ошибок) он был кончен и, оставаясь, конченный, во главе, держал руль мертвыми руками, пока корабль России шел в водоворот.

Это конец. О начале — Николае II — никто не спорит. О продолжателях-поддерживателях, кадетах, правом блоке и т. д. — я довольно здесь писала. Я их не виню. Они были слепы и действовали, как слепые. Они не взяли в руки неизбежное, думали, отвертываясь, что оно — избежно. Все видели, что КАМЕНЬ УПАДЕТ (моя запись 15–16-го года), все, кроме них. Когда камень упал, и тут они почти ничего не увидели, не поняли, не приняли. Его свято принял на свои слабые плечи Керенский. И нес, держал (один!), пока не сошел с ума от непосильной ноши, и камень — не без его содействия, — не рухнул всею своею миллионнопудовой тяжестью — на Россию.

3 ноября. Пятница.

<...> Где Керенский — неизвестно; в этой истории с большевистскими «победами» и его «побегом» есть какие-то факты, которых я просто не знаю. Борис там с ним был, это очевидно. <...>

5 ноября. Воскресенье.

<...> Керенский, действительно, убежал, — во время начавшихся «переговоров» между «его» войсками и большевицкими. Всех подробностей еще не знаю, но общая схема, кажется, верна; эти

«переговоры» — результат его непрерывных колебаний (в такие минуты!), его зигзагов. Он медлил, отдавал противоречивые приказы Ставке, то выслать войска, то не надо, вызванные возвращал с дороги, торговался и тут (наверно с Борисом и с казаками: их было мало, они должны были требовать подкрепления). Устраивал «перемирия» для выслушивания приезжающих «соглашателей»... Словом, та же преступная канитель, — наверно.

Рассказывают (очевидцы), что у него были моменты истерического геройства. Он как-то остановил свой автомобиль и, выйдя, один, без стражи, подошел к толпе бунтующих солдат... которая от него шарахнулась в сторону. Он бросил им: «Мерзавцы!», пошел, опять один, к своему автомобилю, уехал.

Да, фатальный человек; слабый... герой. Мужественный... предатель. Женственный... революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, весь — несчастный. <...>